Ржешевский А.

**БЕЖИН ЛУГ**

*Светлой памяти Павлика Морозова – маленького героя нашего времени…*

*посвящаем*

ЖИЛ… БЫЛ… БАРИН…

«В такие дни, — пишет Иван Сергеевич Тургенев, — жар бывает иногда силен.

Иногда даже «парит» по скатам полей… И вихри круговороты – несомненный признак постоянной погоды – высокими белыми столбами гуляют по дороге через пашню». Далекий благовест какой-то тургеневской церковки не мешает этому спокойствию природы и не нарушает торжественной тишины.

ЖИЛ… БЫЛ… КОГДА-ТО, ЛЕТ СТО ТОМУ НАЗАД, В ЭТИХ МЕСТАХ ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ, БАРИН, ПОМЕЩИК-ДВОРЯНИН, ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ, ОН ЖЕ УБЕЖДЕННЫЙ ПРОТИВНИК КРЕПОСТНОГО ПРАВА И ОН ЖЕ УБЕЖДЕННЫЙ ПРОТИВНИК ВСЯКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ВСЕ ОЖИДАВШИЙ РЕФОРМЫ «СВЕРХУ».

И вот перед зрителем начинает проходить во всей своей красоте, во всей своей разновидности величественный ландшафт так называемой среднерусской возвышенности, где много воздуха, много простора

И живописных стареньких деревушек, избы которых, как дети, пугливо карабкаются по склонам холмов, боясь сорваться в овраги,

Где глубоко внизу вьются неширокие, но очень красивые речушки,

На берегах которых копошатся маленькие водяные мельницы и ворчит, вращаясь, большое мельничное колесо.

«КОГДА ВЫ БУДЕТЕ В СПАССКОМ, — ПОКЛОНИТЕСЬ ОТ МЕНЯ ДОМУ, САДУ, МОЕМУ МОЛОДОМУ ДУБУ, — РОДИНЕ ПОКЛОНИТЕСЬ, КОТОРУЮ Я УЖЕ, ВЕРОЯТНО, НИКОГДА НЕ УВИЖУ».

И.С. Тургенев. Письмо из Парижа.

Тургеневские цитаты (взятые в кавычки) в тексте сценария не всюду даются мною дословно. Иногда они используются несколько «вольно», подчиненные общему контексту эпизода, сценарной фразы. Думается, что такая «вольность» в обращении с тургеневским текстом не зачтется автору в вину. События, описанные в сценарии, в действительности происходили не только в обстановке Бежина луга.

Из затмения вырисовывается перед зрителем чудесный ландшафт, на котором расположилось Спасское-Лутовиново, где провел свое детство Тургенев.

СЕЛО СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО – ИМЕНИЕ МАТЕРИ ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА, ГДЕ ПРОВЕЛ ПЕРВЫЕ ГОДЫ СВОЕГО ДЕТСТВА, ВМЕСТЕ СО СВОИМ СТАРШИМ БРАТОМ НИКОЛАЕМ, ПОД ПРИСМОТРОМ ГУВЕРНЕРОВ И УЧИТЕЛЕЙ-ШВЕЙЦАРЦЕВ И НЕМЦЕВ, ДОМОРОЩЕННЫХ ДЯДЕК И КРЕПОСТНЫХ НЯНЕК, В КРУГУ СВОЕЙ СЕМЬИ АВТОР ПРОГРЕМЕВШИХ «ЗАПИСОК ОХОТНИКА», «ОТЦОВ И ДЕТЕЙ» И «ДВОРЯНСКОГО ГНЕЗДА».

Село Спасское-Лутовиново очень красиво и очень обычно. Церковка. Деревенская уличка. Избы. Поют петухи. Внешне, пожалуй, все так же, как и сто лет назад. Какая-то старуха толчет в старой ступе, в которой, как пишется в сказках, летали по ночам ведьмы. Какая-то девушка вышивает на пяльцах.

Какая-то женщина просеивает зерно через решето, подняв его высоко и прихлопывая в него рукой, как в бубен…

РАССКАЗЫВАЮТ, ЧТО В ПАРКЕ ПОМЕЩИКОВ ТУРГЕНЕВЫХ КОГДА-ТО НАСАЖДЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ В АЛЛЕЯХ БЫЛО ТАКОЕ, ЧТО МОЖНО БЫЛО ПРОЧЕСТЬ СОВЕРШЕННО СВОБОДНО ПО ИХ РАСПОЛОЖЕНИЮ ФАМИЛИЮ «ТУРГЕНЕВ».

Большой парк очень запущен. Тенистые, заросшие аллеи. Отдельные деревья. Тихо в старом помещичьем парке.

ДВЕ СОСНЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОСАЖЕНЫ ИВАНОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ТУРГЕНЕВЫМ.

Вот они. И те сломаны ураганом.

СТАРЫЙ ДУБ, ПОД КОТОРЫМ ПОХОРОНЕНА ЛЮБИМАЯ ТУРГЕНЕВЫМ И «РЕШИТЕЛЬНО УМНЕЙШАЯ ИЗ ВСЕХ СОБАК» — ДИАНКА.

Вот это дуб. На нем доска, и на доске написано: «Здесь похоронена любимая собака Тургенева – Дианка».

А ВОТ И МЕСТО, ГДЕ НАХОДИЛСЯ ДОМ ТУРГЕНЕВЫХ, ГДЕ ЖИЛ ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ.

Место, заросшее бурьяном. Какие-то каменные остатки, очевидно фундамента, заросшие травой. А на одном из камней сидит седой старик и, сворачивая цигарку, мрачно говорит зрителю:

— То, что писатель он был большой, это я слыхать слыхал, но знать точно – не знаю: я неграмотный. А вот что барин он был большой – это я хорошо знаю.

И, совершенно преобразившись и, как зверь, процедив сквозь зубы «ух…» и прошептав что-то беззвучно дальше, ставший страшным старик вылез медведем из кадра, а потом тут же вернулся обратно и, уже хороший, ласковый, улыбаясь, тихо сказал:

— А дом-то мы его, извините, взяли и спалили. Да. В семнадцатом… Что было…

И посмеиваясь и кряхтя, вышел из кадра. Шумят деревья старого парка.

А ВЕРСТАХ В ПЯТНАДЦАТИ ОТ СПАССКОГО-ЛУТОВИНОВА, В ДВУХ ВЕРСТАХ ОТ ЗНАМЕНИТОГО БЕЖИНА ЛУГА, НАХОДИТСЯ ИМЕНИЕ «ТУРГЕНЕВО», ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ СТАРШЕМУ БРАТУ ПИСАТЕЛЯ – НИКОЛАЮ СЕРГЕЕВИЧУ ТУРГЕНЕВУ.

Чудесное ожерелье стройных сосенок окружает этот поистине прелестный уголок.

Прекрасная речушка, платиновым кольцом охватывая этот кусочек природы, дополняет украшение. Небольшая церковь. И маленькая, старая, деревянная игрушечная мельница (именно про такие в старину рассказывали страшные сказки и небылицы) дополняет содержание этой тургеневской старины.

— А вот и помещичий дом! – торжественно проговорил хромой мужичок-сторож в этом кадре, где стояла большая, прекрасная, каменная «Тургеневская неполная средняя школа», из окон которой раздавался исполняемый на рояле один из изумительных вальсов Штрауса, и, показывая на нее, сказал зрителю:

— Вот здесь, на этом месте, был помещичий дом. Но, я извиняюсь, мы его тоже спалили в семнадцатом году – помните, это в тот самый год, когда все кругом полыхало, — и построили в прошлом году эту школу… только давайте тихо, а то там у ребят репетиция спектакля идет. Моя дочурка на рояле играет, а сын председателя сельсовета – барина изображает. Только ни фига у него не получается – сам из мужиков.

И спросил тут же, протягивая руку к зрителю:

— Закурить есть?

«БЫЛ ПРЕКРАСНЫЙ ИЮЛЬСКИЙ ДЕНЬ, ОДИН ИЗ ТЕХ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СЛУЧАЮТСЯ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ПОГОДА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НАДОЛГО». И.С. Тургенев. Бежин луг.

А на высоком берегу реки стоит, расставив ноги, живописно-ободранный, с копной льняных волос на голове мальчуган-пионер лет десяти – и, писая прямо с обрыва в реку, разводит вокруг себя рукой, показывая на окружающий его чудесный ландшафт, и кричит, улыбаясь:

— Вот здесь и охотился Иван Сергеевич Тургенев – я как сейчас помню!

(И думается мне, что мы не нагрешим, если, описывая погоду этого дня, расскажем чуть-чуть о ней прекрасными словами Ивана Сергеевича Тургенева).

В этот день: «Около полудня появилось множество высоких облачков, золотисто-серых, с нежными белыми краями.

Лучезарное солнце, мирно всплывая из-под узкой и длинной тучки, свежо просияет и погрузится в лиловатый ее туман…

…подобно островам, разбросанным в бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко-прозрачными рукавами ровной синевы, облачка почти не трогаются с места…»

«ДАЛЕЕ К НЕБОСКЛОНУ ОНИ СДВИГАЮТСЯ, СИНЕВЫ МЕЖДУ НИМИ УЖЕ НЕ ВИДАТЬ, НО САМИ ОНИ ТАКИЕ ЛУЧЕЗАРНЫЕ, КАК НЕБО: ОНИ ВСЕ НАСКВОЗЬ ПРОНИКНУТЫ СВЕТОМ И ТЕПЛОТОЙ».

И вот в это время по пыльной, небольшой проселочной дороге тащилась маленькая деревенская лошаденка, впряженная в грубую телегу, которая везла маленького, рваного, рыжего, взъерошенного деревенского мужичка, маленького мальчика и еще кого-то – значит, троих.

— Вот и до больницы не довезли. Эх… Да за что ж твой отец ее всю жизнь так бил, что забил до смерти? – сказал, останавливая телегу, правивший лошаденкой мужичок.

— За меня, — прошептал мальчик, широко открытыми глазами уставившись в одну точку.

— Как же так? – переспросил, слезая с телеги, мужичок.

— За то, что вот такого родила меня, — опять прошептал мальчик, который, стоя уже около телеги, трогательно ласкал, гладил мертвую по голове, и тихо добавил: — За то, что понимала меня.

И тихо, тихо стало на этом клочке земли, где стояла телега с мертвой женщиной, а по обеим сторонам телеги стояли, обнажив головы, друг против друга пожилой мужичонка и ясный мальчуган, лицо которого вдруг осветилось улыбкой, и мальчуган спросил мужичка:

— И больше не заговорит?

— Ни-ни, — ответил мужичонка.

— Никогда? – после паузы спросил мальчик.

Горький смех вместо ответа вырвался у мужичка, который медленно закрывал мертвой глаза…

— Смешно говоришь, глупости, — вдруг заговорил лихорадочно мальчик, — мама, вставай. Брось лежать, пойдем, мама, гулять, — говорил ребенок, взволнованно теребя мертвую. –

Пойдем, мама, ну вставай скорей, пойдем на луг, там много цветов. Мама, вставай, мамочка, вставай, родная моя, скорей… Или обратно домой хочешь?.. Домой, мамочка? Поедем домой…

И, соскочив с телеги, схватив вожжи, вытянул кнутом лошаденку.

Но лошаденка даже не подумала тронуться с места.

И мужик повернул голову и, что-то увидев, спокойно сказал мальчугану:

— Теперь не пойдет. Брось. Теперь хоть дубиной бей – не тронется с места.

И в самом деле. Трудно было тронуть с места в эту минуту лошаденку, так как маленький рыженький жеребеночек влез под оглоблю и, счастливый, сосал свою старую мать.

И тихо, тихо стало опять на этом клочке земли, где стояла телега с мертвой женщиной. С одной стороны телеги стоял с обнаженной головой мужичок, а с другой стороны, прижавшись к груди своей мертвой матери, почти беззвучно рыдал ребенок и не слышал, как мужичонка, оглядываясь по сторонам, сказал со слезами на глазах, улыбаясь:

— Тихо-то как…

МНОГО ЕЩЕ СТАРОГО И НЕНУЖНОГО СОХРАНИЛОСЬ В ЭТОЙ ОБСТАНОВКЕ. ЕСЛИ ОТОЙТИ НА ПРИЛИЧНОЕ РАССТОЯНИЕ, УЙТИ ДАЛЕКО В ПОЛЯ И СМОТРЕТЬ НА ВСЕ ИЗДАЛИ, ТО НЕКОТОРЫЕ ВЕЩИ ЕЩЕ И СЕГОДНЯ НАМ НАПОМНЯТ «ЗАПИСКИ ОХОТНИКА».

И в самом деле: если мы развернем одну за другой величественные панорамы ландшафта этих прекрасных мест – в этом месте… и вот здесь, то вы увидите седую старину, почти те же самые, не изменившиеся за столетие деревушки, с обязательной маленькой церковкой посредине, и, увидев это, вы непременно скажете:

— НУ ЧЕМ ЭТО НЕ ТУРГЕНЕВСКАЯ СТАРИНА?

Трудно даже себе представить, какие еще сохранились и стоят в некоторых местах домишки.

Нарочно не выдумать их вид.

Их еще много.

СКОЛЬКО ИМ ЛЕТ? НИКТО НЕ ЗНАЕТ.

Некоторые из них напоминают столетнего, дряхлого и совершенно разрушенного старика.

МЫ НЕ ПОЙДЕМ ОТ ЛЮДЕЙ, МЫ НЕ УЙДЕМ НА ХОЛМЫ, ЧТОБЫ НЕ ВГЛЯДЫВАТЬСЯ ВНИМАТЕЛЬНО В ОБСТАНОВКУ ИЛИ НЕ СМОТРЕТЬ ЛЮДЯМ В ГЛАЗА, НЕ СЛУШАТЬ, О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЭТИ ЛЮДИ, И НЕ ДОПУСКАТЬ ИХ К СЕБЕ БЛИЗКО, — МЫ ОСТАНЕМСЯ ЗДЕСЬ.

Ну давайте, к примеру, возьмем один из таких домишек, к которому сейчас подъезжает телега с мертвой женщиной, с мальчиком и с мужичком.

Дом деревянный, крошечный. Около дома у двери почему-то – мужичонка с ружьем и на корточках. Два подслеповатых окошечка. В маленькое входное отверстие этого дома, покачиваясь, еле влезла с ведрами тощая, как скелет, уродливая старуха. Вошла в так называемые сени. Какое-то мрачное тряпье.

Старуха, поставив ведра в сенях, пошла из сеней – в избу. Мы за ней.

Ну что можно сказать про внутренний вид этого человеческого жилища, по которому, медленно передвигая ноги, пошла и села в углу уродливая старуха? Везде грязь. Опять какое-то мрачное, грязное тряпье. Предельно грязный пол. Какие-то кривые ведра, разбитые кувшины. Тут же кудахчет наседка, сидя на яйцах под скамейкой. Под полатями – только что родившийся теленок.

Над полатями орет в доисторической люльке ребенок, которого до одури качает уже пристроившаяся на полатях подслеповатая, полуголая, грязная, знакомая нам похожая на ведьму старуха.

И если бы вы только видели, как качала она ребенка! Что есть силы. Чтобы ребенок одурел, чтобы у него ум за разум зашел, чтобы у него от такой сумасшедшей боковой качки так обалдела голова, что он, теряя сознание, забылся бы, а затем забытье перешло бы в сон, чтобы не орал он, проклятый.

Но этого мало. Ребенок все не унимался. Тогда старуха, которая не переставала жевать какую-то жвачку, оторвала грязную тряпочку, вынула изо рта то, что она жевала, положила все это в тряпочку, завязала тряпочку ниточкой

И подошла и сунула ребенку в рот – он тут же затих.

Тогда сидевший под образами, за сломанным маленьким столиком, на котором стояла водка и все, что к ней полагается, в компании каких-то четырех-пяти вдрызг пьяных мужиков (сидя за столом, смотрели друг другу в глаза и пели пьяными голосами разное) хмурый, растрепанный, курчавый, похожий на знаменитого врубелевского «Пана» мужичонка с сиреневыми глазками и обутый в лапти поднял голову и при общей тишине сказал как можно вразумительнее, сопровождая свои слова медленным жестом руки:

— Но вы поймите: родной сын погубил… Предал, выдал отца, и кому предал? Советской власти, — проговорил мужик и, что-то увидев в двери, изменившись в лице и засуетившись, закричал нарочито и неестественно ласково:

— Пожалуйста! Дорогому гостю, родному сынку, строителю новой жизни! Утехе под старость, привет. Пожалуйста!

И вот в эту минуту в открытую дверь, переступив порог, вошел и у порога остановился знакомый нам мальчуган.

Все присутствовавшие, повернув головы в сторону двери и увидев Степка (так мы будем называть этого мальчугана), застыли.

И только его отец, тот самый мужичонка с сиреневыми глазами, неестественно суетился, размахивая руками, бегал по избе, ставил к столу табуретку, нарочито тщательно вытирая ее рукавом, предлагал:

— Сыночек… Прошу… Ну вот я и арестован. Ха-ха… Кушать садись, родной мой… Ха-ха… Засадили все-таки старика отца… Ну и молодец… Вот так сын… Вот это, я понимаю, сын! Кушай, сынок… Кушай, радость моя!

Кричал он сыну, подбегая к печке, вытаскивая из нее еду и ставя на стол, сам уселся с другой стороны и, приготовившись к чему-то, сказал:

— Ешь и рассказывай. Я уже все знаю.

Но мальчик молчал. Пройдя через всю избу, Степок спокойно подошел к столу, сел и с невозмутимым лицом, решительно и спокойно отодвинул рукой стоящие на столе стаканы с водкой, которую пили смотревшие на него из-под прищуренных век присутствовавшие здесь мужики, принялся за еду.

— Молчишь? – проговорил отец, не сводя глаз с сына, продолжавшего невозмутимо есть. – Значит, так. Мы думали, что ты спишь, а ты, оказывается, просто закрыл глаза, лежал на печи, все слушал, о чем мы здесь говорили всю ночь, а потом на заре встал, пошел и все рассказал начальнику политотдела. Так? – проговорил ласково, трогательно отец, как бы восхищаясь своим сыном.

А мальчик, что-то увидев в окне, спокойно слез со скамейки и, подойдя к окну, очевидно, обращаясь к лошади за окном, тихо произнес:

— Тпррру… — и вернулся обратно.

— Хлеба ему нарежь! – крикнул во все горло отец старухе.

— Ешь, сынок, ешь… Тебя кто родил? – вдруг тихо-тихо спросил он Степка.

Мальчик продолжал есть…

— Тебя кто родил? Я или в политотделе? – опять тихо спросил отец.

— Мать моя, — так же тихо и спокойно ответил Степок и, положив ложку, пошел от стола, а вслед ему тихо слышалась песня пьяных и слова отца:

— Когда господь бог наш всевышний сотворил небо, воду и землю и вот таких людей, как мы с тобой, дорогой сынок, он сказал…

— Что он сказал? – проговорил, улыбаясь, Степок, не поворачивая головы и собирая свои вещи.

— Он сказал, — слышен голос отца, — плодитесь и размножайтесь, но если родной сын предаст отца своего, убей его, как собаку, — говорит в Священном писании господь бог. Тут же убей.

— Так и сказал? – проговорил, не поворачивая головы, Степок, улыбаясь и направляясь к выходу, и только хотел выйти из избы, —

как тут же, сорвавшись с места и впившись медведем с налета своими лапами в грудь маленького Степка, отец с лицом, искаженным неописуемой ненавистью, прошептал:

— Затоплю печь… Слышишь? Вот сейчас… Разрублю тебя на куски… Сложу в чугун… Слышишь? Сварю… И съем… Один съем… С хлебом, с солеными огурцами вприкуску…

И замолчал и потом что-то хотел еще тут же добавить, но ему помешал Степок, который, спокойно повернув голову и обращаясь к кому-то, произнес:

— Но почему он все-таки мой отец? Объясните вы мне, пожалуйста!

Тогда отец также повернул голову и увидел следующее:

На пороге его избы, опустив ноги в комнату, сидели, спокойно наблюдая за происходящей сценой, раненый, с перевязанной головой, председатель тургеневского сельсовета Егор Петров, оборванный, здоровый, чудесный мужик с некрасивым, но чрезвычайно приятным лицом, и кавалер ордена Ленина и член ЦИК СССР председательница этого колхоза, прекрасная, здоровая женщина, Прасковья Осипова, а сзади них – за порогом открытой двери – вплотную сплошной стеной стояли в сенях пионеры.

И совершенно отчетливо и предельно искренне Егор Петров, подперев голову рукой, произнес:

— Ну прямо не говори, Степок. И сам я сволочь большая и видел много сволочей на своем веку, но такой гадины, такого паразита, как твой отец, даже во сне не видел…

Так и застыл отец, позабыв даже отпустить Степка, смотря в сторону двери.

А Прасковья Осипова, неожиданно обхватив председателя сельсовета, с отчаянием спросила у него:

— Ну что делать? Что делать? Я вас спрашиваю…

И, подумав, предсельсовета ответил:

— Только стрелять… Залпом… И не взводом, а целым корпусом. Расставить вот так: вправо колонну и влево колонну… И ахнуть…

И, продолжая свою мысль, заговорила Прасковья:

— А мне еще в политотделе говорят… Учат, видите ли, меня… Прасковья, мол, действуй экономнее. Умнее. Ведь ты у нас как председатель колхоза – передовая, умная ты, Прасковья. Наш ты человек. Тактики больше проявляй, Прасковья! Почитывай, говорят, Прасковья, больше… Почитывай…

И, поднявшись и обчищая себя, Егор Петров во время этого туалета, продолжая делиться с нами тем, чему его тоже учили в политотделе, говорил:

— Стратегии, говорят, надо больше, Егор… Тебе, говорят, как председателю сельсовета овладеть стратегией больше всех надо. Чутья надо больше. Тонкости больше… А у меня и так ее хоть отбавляй!

И, проговорив это, Егор Петров так хлестнул по руке отца, который держал за грудь Степка, что у того, вероятно, искры из глаз посыпались.

А потом тут же вынул из люльки ребенка, и, передав его Прасковье

и подойдя к столу, за которым сидели остальные пьяные, и наполняя водкой из бутылки все стаканы, стоящие перед пьяными мужиками, Егор Петров, уставившись взглядом в пьяных, наливая водку, с ненавистью и тоном, не допускающим никакого возражения, проговорил:

— Пей!..

Пьяные мужики, обалдевшие от всего происходящего, не шелохнулись, и только один едва прошептал:

— Но, Егор Петрович…

— Пей, я говорю! – ахнул, как топором, Петров, и, нервно захохотав, он продолжал сквозь смех, наливая дальше:

— Спалить захотели… По миру колхоз хотели пустить… Врешь… Не уйдешь!..

— Вы не ушли, и другие не скроются. Далеко не убегут. Врете. Землю насквозь пройдем, а достанем, — прогремела Прасковья.

Мужики подняли стаканы ко рту и начали пить.

А Прасковья Осипова, не глядя в сторону отца Степка, который следил за ней, пошла с грудным ребенком и со Степком к двери и, тормоша младенца, который ей улыбался, смеялась и говорила ему:

— Ну, как звать? Говори, как звать?.. Ну подавай в колхоз заявление. А работать будешь?.. Хорошо будешь работать?.. Да что ж это ты надо мной смеешься?.. Да что ж это такое!..

— Но ребенок мой… — глухо проговорил отец.

— А это мы еще его спросим, — показывая на крошку, ответила спокойная, как скала, Прасковья, которая своей грудью уже кормила чужого ребенка. – Но так как покойницу мы сейчас отвезем в красный уголок, а тебя сегодня же отправят в тюрьму, а у меня нет уверенности, что этот гражданин, — снова показала она на ребенка, — вместе с тобой совершал преступление, то правление колхоза его оставляет здесь с его братом Степком и предоставляет им новый дом.

А отец тяжело к двери – к Егору Петрову в двери:

— Но так шутить нельзя. Где же правда? Я в поджоге и преступлениях никаких не участвовал. Я не знаю, куда они скрылись. Я жену не губил, я всю жизнь ничего не имел. Я всю жизнь бедняк…

— А я из царской фамилии… — спокойно отрезал Егор Петров, выходя на улицу вместе с пионерами, которые шли, обнимая Степка…

И тут же с улицы Егор Петров крикнул отцу, показывая куда-то рукой:

— Вот мой Зимний дворец… Пожалуйста. – И показал на какой-то прекрасный дом, над крыльцом которого было написано, что он построен в 1934 г.

Отец Степка на секунду тоже остановился в двери. Затем спустился по камням, прилегающим к порогу падающего домишки, подошел к его углу и, опираясь одной рукой на угол и заложив нога за ногу, надвинул от солнца козырек картуза на глаза и долго не спускал своего мрачного взгляда с исчезающего сына, который вел подводу с мертвой матерью, окруженный пионерами, а впереди них шагала по дороге с грудным ребенком председательница колхоза.

А отец до тех пор смотрел, пока какой-то проезжающий на телеге старик не крикнул хрипло:

— Подкулачнику! Ну как живем? – И снял шапку.

И, так же опираясь одной рукой на угол своего умопомрачительного домишки, к окнам которого в это время приволоклась пощипать траву худенькая лошаденка, завершая своим присутствием полную картину его хозяйской жизни: вот такой дом, под окнами растрепанная курица с петухом и ободранная кошка, которая грелась на солнце, — отец Степка с отвратительной улыбкой в ответ крикнул старику:

— Погибаю, но не сдаюсь!!

И так застыл со своим «добром», приветствуя старика.

И, как бы боясь, что он раздумает, вежливо, но очень страшно крикнул ему в ответ сверху стройки нового дома какой-то строитель-мужик:

— Погибай! Пожалуйста, погибай к чертовой матери! Очень тебя прошу! – Причем это слово он произнес, прямо-таки умоляя этого потерянного вконец человека.

В ОБЩЕМ ВЫ УЖЕ ВИДИТЕ, ЧТО ПОГОДА БЫЛА В ЭТОТ ДЕНЬ ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ, КАК И СТО ЛЕТ НАЗАД.

И вдруг – протяжные, тоскливые удары далекого колокола какой-то маленькой и невидимой тургеневской церковки разбудили чудесную тишину, в объятиях которой дремал этот величественный ландшафт, по склонам холмов которого мирно паслись большие стада коров, овец, гусей и уток. И вот какие разговоры шли в одной из деревень:

— Чего это в тургеневском сельсовете так сильно звонят? – крикнул через улицу, высунувшись из окна своей избы, пожилой мужичонка.

— По покойнику, очевидно, бузуют! – ответил ему вместо нас другой из окна избы.

— По покойнику?.. А кто же это умер? – полюбопытствовал еще мужичок, в окне третьей избы.

— А пес его знает! – ответил еще какой-то старикашка у окна своей избушки, читавший московскую «Правду». И, насторожившись, заговорил:

— Если пожар… На пожар так не звонят… И дыму нигде не видно. (Нюхает). Если от грозы… Все равно дым бы был… Да и какая гроза… Хм… И заря сегодня была хорошая, когда я рыбку ловил. И чего это звонят? Хм… Что бы такое могло быть?.. И из верующих, кажись, в том сельсовете одни коровы остались… Хм… Не понимаю… Каких-нибудь девять километров, рядом… А живешь и не знаешь, что под боком делается… Ка-а-артина… Слышите?.. Не понимаю… Лень только идти, а то сбегать можно… — И, кого-то увидев, старик закричал:

— Это уж не в Тургеневе ли так сильно звонят?

— Ну как, нашли остальных поджигателей? – слышался голос старика.

— Найти-то нашли – только еще не взяли… — проговорил с телеги мужик. – В церкви, говорят, спрятались. Поп спрятал.

— Что ты говоришь?! – воскликнул из другой избы высунувшийся из окна какой-то старик.

— А что народ? – проговорил мужик в телеге.

И мы видим, как под неистовый колокольный звон в Тургеневе народ окружал церковь, из двери которой прогремело несколько выстрелов и дверь тут же закрылась, запертая кем-то изнутри.

А народ полз по канавам, по выбоинам дорог, в траве, сурово и неуклонно приближаясь к церкви.

А КАК ЗДЕСЬ ЧУДЕСНО ПОСЛЕ ДОЖДЯ, КОГДА ВОЗДУХ ЧИСТ, КАК КРИСТАЛЛ, И ПОЛНА АРОМАТА ПРИРОДА.

Когда под неистовый колокольный звон последние жемчужные капли после дождя падают с крыш тургеневских деревушек;

Когда последние жемчужные капли после дождя падают с листьев деревьев;

Когда последние капли после дождя дрожат на бесчисленных цветах, которыми засыпаны большие заливные луга, лужайки этого ландшафта.

И под неистовый звон тургеневской церкви неслись по этим бесчисленным цветам, сбивая цветы, бесчисленные босые ноги...

Ноги в лаптях, в сапогах по дороге... Ломая кусты…

— Православные, побойтесь бога… — кричал какой-то истинно православный мужичок с лицом сукина сына.

И знакомый нам председатель сельсовета Егор Петров, в растерзанной рубахе, бегая между деревьев, кричал:

— Назад, товарищи!.. Товарищи колхозники, так нельзя, давайте организованно! – кричал Егор Петров сдерживаемой цепью толпе, которая шарахалась в сторону от выстрелов из церкви.

— Товарищи, остановитесь!.. – кричала обессиленная Прасковья Осипова в другом кадре.

— Поджигатели и убийцы все равно никуда не уйдут! Им выхода нет. Комсомол их возьмет! От комсомола не вырвутся! – кричал Егор Петров в этом кадре.

Но их не слушали, все неслось мимо них, сбивая их несколько раз с ног, и они опять вскакивали.

И под аккомпанемент неистового топота бесчисленных ног с грохотом в церковь вломились комсомольцы, и под этот грохот, который и будет служить звуковым фоном для этой сцены, на плечи обессиленным и задыхающимся от усталости Егору Петрову и Прасковье Осиповой положил руки старенький местный колхозный учитель и ласково, спокойно, настойчиво отведя их в сторону, заговорил:

— Ну вот и все. А теперь смотрите и запоминайте… Такие минуты не каждый день бывают. А через час, — сказал трогательно учитель, — этот колокольный звон, который разносился над нашей землей много столетий, — замолкнет. И больше ни вы, и ни наши самые счастливые в мире дети, и ни дети наших детей его никогда, никогда не услышат. Вы понимаете это?.. Ну разве это не интересно?..

И, врезавшись в толпу, врывающуюся в церковь, мы вместе с не удержавшимися Егором Петровым и Прасковьей Осиповой вваливаемся через проходы под темные своды храма, куда свет проникал лишь в щели закрытых ставень, и видим, как среди этой когда-то одухотворяющей людей обстановки, среди дымящихся лампад и редких восковых свечей дрались с сопротивляющимися преступниками, спрятавшимися в церкви, тургеневские колхозники.

И под звуки одного из изумительных уже знакомых нам вальсов Штрауса, который звучал из школы, и под аккомпанемент отчаянного благовеста, сидя на лежащем большом дубе, человек десять – двенадцать колхозников задумчиво слушали, что скорбно и со слезами на глазах говорил сидевший среди них какой-то старик:

— Люди забыли бога. Люди стали грубы. Ну что вы хотите, когда единственный человек, который с попом и обращался по-человечески и вежливо разговаривал, — это секретарь райкома партии. Ну куда ж тут дальше идти?

И сокрушенно качая головой, рядом сидящий охотник-старик заговорил скорбно:

— Ай-ай-ай. Забыли совсем люди бога…

И, неожиданно треснув по коленям рукой, старик проговорил радостно:

— Молодцы!..

Тогда костлявая старуха встала, пошла, потом остановилась, скорбно и строго повернула голову и, не спуская глаз, медленно спросила охотника-старика, который уже опять как-то отяжелел и, облокотившись о стенку, уходил в дрему:

— Дед Маркел, сколько ты лет веровал в господа бога?

Старик лениво перевел глаза на старуху, потом прикинул в уме и сказал:

— Шестьдесят будет.

— Ну а как же ты жил? – спросила старуха.

Старик подумал, подумал и ответил:

— Слабовато.

И через паузу опять спросила старуха:

— Ну и что же?

Тогда, перевалившись на другой бок, старик твердо ответил:

— Решил жить блестяще.

— Без бога? А умирать как будешь? – спросила скорбно, немного строго старуха.

И так же лениво ответил старик:

— Я этот вопрос еще не прорабатывал.

И залились смехом на бревне старушки и старички.

— И вы слушаете это? – спросила у присутствующих скорбная старуха.

И какой-то мужичонка, с замечательно простым и хорошим лицом и ясными глазами, ответил просто, кратко и трогательно:

— Да.

И вот перед утопающей в зелени деревенской церковью, с колокольни которой шел неистовый звон, опустилась на колени старуха.

И горячо говорили, обращаясь к богу, старческие уста:

— Господи великий, боже мой. Скажи, что стало с нашей русской землей? Что с православным народом, господи? Где православный народ?

И в тот момент, когда из церкви уже выводили арестованных поджигателей под неистовый колокольный звон этой церкви, знакомый нам старик сторож тихо подошел сзади к старухе и, тронув ее за плечо, крикнул:

— Нет православного народа! Был и весь вышел! От православного народа осталась ты, еще кое-кто да еще вот эта сволочь… — Показал на арестованных и тут же добавил:

— А все остальное – актив. – И, сняв шапку, вышел из кадра.

И с визгом, и гиканьем, и звонким криком вылетели из школы триста человек чудесных ребят, половина из которых была в пионерских галстуках, и, щебеча как галчата, они окружили старика сторожа, который, обращаясь к зрителю, показывая на притихшую стаю чудесных ребят, сказал трогательно:

— Вот это все – дети того самого, когда-то крепостного Бежина луга. Будьте знакомы.

И дети все как один, отдавая пионерский салют и обращаясь к зрителю, проговорили тихо:

— Здравствуйте.

И тут же, разлетевшись в разные стороны, понеслись, как птицы, по дорогам и родным лугам.

ВЫ, НЕСОМНЕННО, ПОМНИТЕ У ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА В «ЗАПИСКАХ ОХОТНИКА» ЕГО ПОВЕСТЬ «ЧЕРТОПХАНОВ И НЕДОПЮСКИН».

И над всей этой русской размашистостью природы, с ее бесконечными лугами, холмами и ее просторами, по которым, как птицы, везде неслись дети, как бы продолжая, сменяя звон колоколов в тургеневской церкви, — в звуковой последовательности понеслись звоны колхозных набатов, призывающих колхозы к послеобеденной работе.

Люди, закончив обеденный перерыв, торопились на работу.

ВОТ ЭТИ ЗЕМЛИ, ВОТ ЭТА КОГДА-ТО НИЩАЯ, РАЗРУШЕННАЯ, ВЫМИРАЮЩАЯ ДЕРЕВУШКА, СТАВШАЯ НЫНЕ КОЛХОЗОМ, И ПРЕДКИ ЭТИХ ЛЮДЕЙ ПРИНАДЛЕЖАЛИ В СВОЕ ВРЕМЯ ГЕРОЮ ПОВЕСТИ, ПОЛУСУМАСШЕДШЕМУ САМОДУРУ – ПОМЕЩИКУ ЧЕРТОПХАНОВУ.

И перед вами – цветущий колхоз. Все здесь радует глаз. На улицах чисто. Вдоль домов тянутся аккуратненькие канавки. Через канавки перекинуты изящные мостики. Вдоль канав через весь колхоз – молодые саженцы разных деревьев. Около каждого домика – палисадник. В палисадниках – клумбы, на клумбах – цветы.

Набаты звали к работе. И надо сказать, что в этой готовности идти работать мало уже общего с имевшимся у нас представлением, как «расшевеливается русский мужичок».

Двери изб раскрывались энергично. Люди двигались по-иному. Любопытно было смотреть на новый характер одежды, который вместе с новой жизнью вошел в колхоз. На некоторых стариках и женщинах – комбинезоны. И хотя комбинезоны в работе, конечно, единичны и даже случайны, все же надо сказать, что и старая имеющаяся одежда, в которой люди работают, зачастую переделывается и подгоняется применительно к новым условиям жизни, к новому пониманию ее, и к новой форме работы.

ВОТ ПЕРЕД ВАМИ ЗЕМЛЯ, ВОТ ОНА, КОГДА-ТО ПЕЧАЛЬНАЯ, БЕЗРАДОСТНАЯ ДЕРЕВУШКА, И ЛЮДИ, ПРЕДКИ КОТОРЫХ В СВОЕ ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖАЛИ ПОМЕЩИКУ ПЛАТОНУ ИВАНОВИЧУ КАРАТАЕВУ, ИМЕНЕМ КОТОРОГО И НАЗВАЛ ТУРГЕНЕВ СВОЮ ПОВЕСТЬ.

Шире жест, резче завязывается узел веревки.

Быстрее и увереннее затягивается хомут.

Стремительно заворачивается онуча.

Быстро выпивается кружка воды.

Лицо после сна споласкивается молниеносно.

Темп, с которым затягивается около пупа ремешок на рубашке, ничего общего не имеет с прошлым темпом, медлительность которого была похожа прямо-таки на священнодействие.

ВЫ, НЕСОМНЕННО, ПОМНИТЕ У ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА В «ЗАПИСКАХ ОХОТНИКА» ЕГО ЗНАМЕНИТУЮ ПОВЕСТЬ «ПЕВЦЫ».

Вот перед вами еще колхоз. Какое движение!

Люди не переваливаются, а идут.

Лошади не плетутся, а бегут.

Телега не двигается едва-едва, а несется.

Причем все с гиканьем, с радостным криком, местами с руганью.

ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ТА, КОГДА-ТО ТОСКЛИВАЯ,БЕЗ РАДОСТИ И ПРОСВЕТА, ДЕРЕВНЯ КОЛОТОВКА – ГДЕ ПРОИСХОДИЛИ СОБЫТИЯ, ОПИСАННЫЕ ИВАНОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ТУРГЕНЕВЫМ В ПОВЕСТИ «ПЕВЦЫ», — КОТОРАЯ НЫНЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАСНЫМ КОЛХОЗОМ И НОСИТ ГОРДОЕ НАЗВАНИЕ «БУРЕВЕСТНИК».

А в это время на улице перед церковью, под неистовый звон ее колокола, в который все продолжал звонить поп, какой-то рыженький мужичонка с красным бантом, задрав голову, кричал истошно, сложив руки рупором, на колокольню попу:

— Святейший синод, слезайте! Не верим, все равно не верим! Слезайте к чертовой матери! Войска все на нашей стороне! Весь народ с нами! Ваше положение совершенно безвыходное. Вы уже не герой, батюшка. Вы уже теперь не герой!!

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

И вот на столбовом шоссе, на одном из замечательных объектов нашей жизни, в котором, как в зеркале, вы увидите и ощутите квинтэссенцию нового дыхания этих, когда-то крепостных, тургеневских мест, взвыли воем отчаяния и страха, сдерживая взвивающихся на дыбы коней в обозах, двигающихся по шоссе, разношерстные бабы и мужики.

И с полного сумасшедшего хода врезалась, с грохотом и с визгом уродуемого железа, какая-то машина в другую, что и отметил рваненькийстаричок взмахом руки и возгласом:

— Есть.

— Нет, братцы, России на телеге лучше ездить, спокойнее… — врезался в грохот катастрофы с криком какой-то маленький мужичонка и тут же так схватил от кого-то в ухо, что вылетел с шоссе и, врезавшись головой в телеграфный столб, теряя сознание, зашептал:

— ГОСПОДИ ВЕЛИКИЙ, БОЖЕ НАШ! ЧТО СТАЛО С РУСКОЙ ЗЕМЛЕЙ?.. ЧТО СТАЛО С ПРАВОСЛАВНЫМ НАРОДОМ?.. ГДЕ ПРАВОСЛАВНЫЙ НАРОД?!..

И действительно, что-то невероятное, но чрезвычайно характерное для великих дней перед началом уборки хлебов в нашей стране выделывал этот самый русский народ на столбовом шоссе.

(Причем здесь нет никакой стихии, так нужно и понимать, но если вы сохраните динамику жизни, жизни шоссе в эти дни накануне уборки хлебов, так, как все это происходит на ходу – на минутных паузах, на заторможенных на секунду машинах, на осаженных на мгновение конях, на прыжке с велосипедов, на криках с двигающихся по шоссе телег, — причем, повторяю, что все эти разговоры, крики, истерики происходят, что называется, в течение одной секунды, когда на секунду заторможенная машина еще дрожит, готовая сорваться в момент с места, когда лошадь, осаженная внезапно на ходу, бьется еще в

оглоблях, когда у велосипедиста, спрыгнувшего на ходу с машины на землю, стремительно еще крутится приподнятое переднее колесо и когда вы сами правильно поймете разговоры, которые происходят в самой тесной связи с этой динамикой, — то вот как будет выглядеть в криках этот самый «православный» народ на шоссе.)

— Какой урожай! Ах, какой большой урожай! – кричал окруженный воем несущихся мимо машин какой-то восторженный маленький мужичок.

А рядом, терзая свою грудь, в этом кадре кричал другой колхозник:

— Убедительно прошу в последний раз, обеспечьте жатками колхозы нашего сельсовета…

И орали люди друг другу:

— Категорически настаиваю прислать механиков и еще раз проверить готовность машин к уборке…

— Какого дьявола я за тобой должен гоняться по всему району!..

— Что вы, с ума сошли, что ли, входить в таком состоянии в уборочную…

И слышалось:

— Обеспечьте – или погибнем…

— Учтите наше требование – или гроб… — хрипели кому-то мужики.

— Опять растрату у нас обнаружили. Это черт знает что такое! – орали на шоссе колхозницы.

— Колхозы требуют жаток, сноповязалок, молотилок и сеялок…

— Ставим вопрос о тебе на бюро. Довольно!..

— Раньше ты плакал, что хлеба нет. Вот хлеб! Бери! Не сумеешь взять и оставишь колхозы без хлеба – тикай на край света…

— Голубчик! За что уж?! Слыхал, что тебя из партии выгнали? Елки-палки… — проговорил кто-то и тут же умчался.

— К чертовой матери… Я с ума схожу!

— Только, пожалуйста, не на шоссе, а на тропинке, — попросил его слушающий. – Но сенокос завтра закончи и начинай хлеба.

— Кискин! В такие дни – и ты пьян! Стерва!

— Ну прямо, товарищ секретарь райкома, от волков покоя нет. Сегодня двум жеребцам две мошни за две минуты выдрали.

— Какого же дьявола агронома не даете?! Что я к нему, как к архиерею, что ли, на поклон буду ездить?

— Я тебе что, агрономов по ночам делаю? – обиженно ответил другой.

— Ну что делать с тракторами! – кричит какой-то мужик, показывая на трупы моторов, которые, как дрова, навалены на телегах, двигающихся по шоссе. – Православные, за что это вы так с техникой-то, которая в реконструкцию решает все?!

— А теперь дальше, — говорит кто-то в автомобиле, — я слыхал, что ты грубо разговариваешь с колхозниками. Скажи, пожалуйста, кто дал тебе эти права?

— Нет, это неверно, товарищ председатель исполкома, — мрачно отвечает спрашиваемый, — говорить все можно. Можно на матери рубаху разорвать, но что бог скажет.

— Ай… ай… ай… ай… ай… — айкает кто-то.

— Как пошло полыхать, как пошло полыхать, чуть было огонь хлеба не захватил, — рассказывает какая-то женщина, — бросились к пожарной машине, а у нее кто-то рукава начисто срезал. Ударили в колокола.

— Ай… ай… ай! – еще кто-то.

И кто-то, успокаивая маленькую толпу собравшихся вокруг него колхозников, говорил:

— Да не кричите же вы. Все равно далеко не убежит. Не бойтесь. За растрату денег в нашем колхозе, за срыв уборочной – на краю света достанем. Вы же знали, что он бывший твердозаданец?! Почему же не были бдительны? А теперь орете.

И кто-то благим матом, среди окружающих его мужиков, отчаянно орет:

— Кар-р-р-раул!!! Не могу!

— Какое доверие оказано человеку, а он орет!!! – кричали в свою очередь люди, показывая на него.

И, как бы апеллируя к зрителю и шоссе, орал на шоссе мужичонка:

— За рожь отвечаю, за пшеницу отвечаю, за вику отвечаю, за коноплю отвечаю, за уборочную отвечаю, за посевную отвечаю, за колхоз отвечаю, за телят отвечаю, за здоровье колхозников отвечаю – за все обязали отвечать, у меня голова пухнет, а они не слушаются.

— Не забывай о русском размахе и американской деловитости, Вася, и все будет в порядке! – посоветовал кто-то.

— Да я уже и так стал совсем американец! – плачуще закричал мужичок и, продолжая разговор с окружавшими его колхозниками, которые, очевидно, и вызвали эту его истерику, закричал одному из них:

— Тебе что, в городе на заборах медом намазано, что ты без моего разрешения перед уборочной каждый день туда шляешься?

— Товарищи из кооперации, ведь так же нельзя! – кричала какая-то баба. – Везите товаров больше. У меня у одной шесть девочек, шесть голов повязать надо чистенькими платочками. В наше время принято ходить чисто – деньги есть, а нужного в кооперации не хватает.

А рядом в кадре уже происходила другая сцена: какой-то сморщенный и подловатый мужичок, тыкая себя немилосердно в грудь, кричал:

— Нет, ты мне скажи, за что ты меня?

— То есть как – за что? – говорил рядом какой-то мужик. – Вышибли из колхоза, и кончено. – И, загибая пальцы на руке, считал: — Перед тем как вступить в колхоз, корову зарезал? Так. Овец перерезал всех? Так. Пришел в колхоз без штанов, с одной лошаденкой, которую всю ночь гонял, и только к рассвету упала она, несчастная, около правления колхоза. А войдя в колхоз, не работаешь, а злишь, стравливаешь людей, склочничаешь?

— Да я… — хотел что-то сказать в ответ мужичонка.

Но его перебил тот же мужик и продолжал взволнованно:

— Иди, иди, жалуйся, жалуйся!

— И пойду, — огрызнулся на ходу мужичонка, шагая уже по шоссе.

И кричал ему взволнованно на все шоссе человек:

— Советую не в район!

— Советую прямо в Москву! – кричал человек уже в другом кадре:

— И в Москве так и передай, что, мол, дела в нашем колхозе в полном порядке и пока я, председатель колхоза Прохор Смирнов, жив, так, мол, тебе, Ивану Дементьеву, сукиному сыну, прохвосту, вору и лодырю, в колхозе не бывать нипочем!

И опять на столбовом шоссе вдруг закричали от страха люди.

И орали на разные голоса разное:

— Но что же это такое делается?!

— Что делается! – кричит какая-то женщина, схватив за ноздри коня и мимо, как снаряд, проносится с воем машина.

Какая-то телега – под откос… Машина, как дьявол, — мимо…

В другом месте лошадь – на дыбы и в сторону…

В третьем месте лошадь с телегой – через линию железной дороги, а в это время между лошадью и телегой – шлагбаум и мимо, как снаряд, — поезд…

Машина – мимо…

А едва увернувшийся от машины и врезавшийся в кучу сбившихся телег, не знающих, что предпринять, какой-то бородатый мужик, бросив поводья, плюнув и вылетев на шоссе, заорал:

— Наваливайся, товарищи, на нашу матушку Русь избяную, проклятую. Дави ее, суку… Амба… Конец… — И пошел к своей лошаденке.

И вдруг ко всему этому вавилонскому столпотворению на шоссе, по которому сплошной стеной шли тракторы, машины, присоединился, ревя всеми своими четырьмя моторами, неожиданно спустившийся здесь гигант самолет, который, сейчас работая на полуоборотах всеми своими моторами, подруливал к шоссе, и выскочивший на ходу из кабины один из пилотов в шлеме подбежал к знакомому нам старику, который уже сидел, свесив ноги, на своей телеге и едва-едва сдерживал обезумевшую от страха перед ревущим воздушным кораблем лошаденку, и пилот, козыряя старику, сказал, что, мол, они сбились с курса и не знает ли он, как им попасть на Бежин луг?

Старик, козыряя также пилоту, ответил:

— А вы валяйте за мной… я как раз туда еду!

И старик, стегнув лошаденку, поехал…

И с ревом всех четырех моторов, покачиваясь, пополз за ним гигант самолет, включаясь своим ревом моторов в оглушительное улюлюканье, в пронзительный и невероятный свист на шоссе (свистели кто как мог и по-всякому), в страшные негодующие крики, которыми встретило все, что находилось на шоссе, появившихся под конвоем арестованных поджигателей, взятых из церкви в Тургеневе.— Не вышло, сукины дети?! – неслось по адресу арестованных.

— Захотели колхоз сжечь?!

— Стрелять вздумали, гады! – стонали на шоссе и бились люди в объятиях других людей, которые изо всех своих сил старались не допустить самосуда.

— Товарищи, опомнитесь, будьте сознательными! – кричал впереди конвоя, стараясь провести арестованных через негодующую, скапливающуюся, громадную, двигающуюся по шоссе толпу, знакомый нам председатель сельсовета Егор Петров.

А по шоссе неслось:

— За попа прятались?!

— За бога все еще прячетесь, стервы?!

— Зависть заела?! По миру захотели пустить?! – гремело по шоссе уже с несущихся телег, которые, толпясь, и обгоняя друг друга, как люди, пытались приблизиться к арестованным, окружая их со всех сторон.

— Без царя соскучились? В ГПУ их?!..

— Товарищи, бейте!!! Бейте их, это последние!!! – неслось с телег, которые, толпясь и толкая друг друга, все гуще и гуще сбивались вокруг двигающихся по шоссе арестованных, под надзором обессилевшего конвоя, уже начинавшего сдавать перед этой осадой. Телеги неслись по шоссе со всех сторон. Везде кричали, свистели, улюлюкали. По сплошным телегам, как по льдинам во время стремительного ледохода, с одной на другую прыгали колхозники и колхозницы все ближе к арестованным, и на двигающихся телегах происходила с ними борьба тех, кто не хотел допустить самосуда.

И вот, когда над головами арестованных взлетели топоры, испуганные лошади от взмахов топоров взвились на дыбы, все, что находилось на шоссе, ахнув, застыло.

И перед глазами зрителей запечатлелась окончательная, так сказать, семейная фотография с последним выражением на лицах арестованных преступников, — в этот момент, вместе со вступлением на экран этого кадра, во всю мощь рупоров прогремели чьи-то решительные слова, по своему существу непосредственно относящиеся к этой семейной фотографии преступников:

— Товарищи, этих людей бить нельзя! Они нам этого никогда не простят! Это лучшие люди! Эти люди хотят только добра!

И загремел раскатистый смех, который резко сменил гнев людей на шоссе.

— Что же вы смеетесь?.. – кричал Егор Петров, стоя на телеге и подхватывая смех шоссе.

— Я не понимаю, что же тут смешного?.. Ну вы поймите. А если кулаки все-таки свергнут советскую власть, власть пролетариата, бедноты… — кричал он, сообразив в последнюю минуту, как переключить гнев на смех и отвести угрозу самосуда.

Но еще больше грохотал смех на шоссе, срывая фразу Егора.

— Конвой! Уведите их сейчас же. Я не могу разговаривать… Они вызывают смех!!! – кричал конвою Егор Петров.

Шоссе так и грохотало.

Конвой, оцепив, повел и вывел арестованных из толпы на шоссе.

— Обдул Егор, — проговорил кто-то…

А Егор кричал:

— Товарищи! Вы зря смеетесь. Подумайте, товарищи, может быть, им все-таки удастся вернуть нас назад, разгромить колхозы, вернуть помещика, привести царя!!!

С людьми делалось что-то невероятное… Люди корчились, рыдали, плакали от смеха…

И тот, кого уже откачивали водой, вдруг поднялся, сел и спросил:

— Что он сказал? Царя вернуть?..

И, еле получив утвердительный ответ от тех, кто, шатаясь от смеха, его откачивал, он простонал: «Ай!» — и от нового приступа смеха упал замертво.

Такого смеха, какой грохотал на шоссе, никто никогда не слыхал.

А Егор кричал:

— Ну, а, может быть, все-таки…

Но слова обрывал грохочущий смех на шоссе…

И уже на полях, среди бесчисленных холмов этой так называемой среднерусской возвышенности…

И если бы вы видели ту поистине грандиозную работу, которую дружно проделывал коллектив людей, — где-то внизу под холмами, далеко-далеко на лугах, в глубине и под звон косьбы – везде гремел смех…

И здоровенный и длинный пожилой начальник политотдела, стоя в открытой машине, которая будет двигаться высоко наверху, над обрывом, и за которой следуют другие легковые машины с его помощниками, как на смотру перед развернутым фронтом заливных лугов, сорвав с головы фуражку, крикнет вниз людям на роскошные заливные луга:

— Запаздываете, ударнички, запаздываете. По-большевистски поднажимай!

И в ответ ему на его слова с заливных лугов грянет, переливаясь по заливным лугам, такое «ура», какого вы еще не слыхали, и это «ура» будет служить звуковым фоном для следующей надписи:

НАЧАЛЬНИК ПОЛИТОТДЕЛА МТС, В ЗОНУ КОТОРОЙ КАК РАЗ И ВХОДЯТ ПОЧТИ ВСЕ МЕСТА, ОПИСАННЫЕ ИВАНОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ТУРГЕНЕВЫМ В ЕГО ЗНАМЕНИТЫХ «ЗАПИСКАХ ОХОТНИКА».

Причем это гремевшее «ура», по-моему, должно быть подхвачено и вот в этом кадре огромным количеством бегущих по улицам одного из колхозов детей с цветами и просто так, вскакивающих с кровати,

Выбегающих из дверей, бросающих обедать и стремительно вылетающих вон из изб.

Дети бежали на улицу, навстречу двигающимся двум легковым машинам, одной политотдельской, другой – машине ГПУ, причем гигантская фигура начальника политотдела, который шагал рядом с первой машиной, занималась своеобразным делом.

Начальник политотдела, подхватывая на руки одного за другим набегающих на него и приветствующих его детишек, прямо-таки запихивал повизгивавшую от удовольствия детвору колхоза в рядом движущуюся машину, а также в машину начальника ГПУ.

Причем не умеющих еще ходить, но все же ползущих к нему навстречу детишек он подбирал прямо с дороги.

В другом месте он подбегает к избам и, вытаскивая из изб торчащих в окнах, на подоконниках улыбающихся ему малышей и при радостных криках других, запихивает их в руки более старших ребят в машине.

А В ЭТО ВРЕМЯ ПОТОМСТВЕННАЯ ПОЧЕТНАЯ ПРОЛЕТАРКА, ОНА ЖЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА, ПРАСКОВЬЯ ОСИПОВА КРЕПКО СПАЛА…

Вбежавший в новенькую, чудесную избенку ее муж Иван навалился на спящую жену и, стараясь ее разбудить, кричал:

— Прасковья, вставай! Вставай, идол! Начальник политотдела вместе с начальником ГПУ приехал! А ты спишь. Что скажут про такую председательницу?..

Но знакомая нам председательница не намеревалась просыпаться окончательно. Она на минуточку только приоткрыла глаза, приподнялась на локте и как можно вразумительнее сказала:

— Ранее трех часов не будить. Понятно? За четверо суток без сна я имею право проспать несколько часов. Учтите это. До трех часов никаких начальников не признаю. Понятно? Единственно разрешаю и приказываю тебе немедленно разбудить меня лишь только в том случае, если увидишь, что по улице колхоза идет и направляется прямо к моей избе человек, вот копия похожий на этого…

И показала куда-то рукой, и, недовольная, что находящийся вне этого кадра ее муж не может, очевидно, найти, вернее, не понял еще, на кого она показывает, председательница колхоза говорила, не опуская руки:

— Не то, не то. Вот, вот, вот копия похожий на этого… — И тут же, проговорив, заснула, оставив мужа стоять около висевшего на стене портрета Иосифа Виссарионовича Сталина. А так как портрет висел на той же стене, где находится дверь, то мы видим, как через небольшую паузу с возгласом:

— Здорово, Прасковья! – в избу ввалилось громадное тело, которое принадлежало начальнику политотдела. И с повторным возгласом:

— Здравствуй, Иван… — начальник политотдела скинул с себя походную сумку, шапку, плащ и, занятый какими-то своими мыслями, сел тут же за стол и начал что-то писать в блокноте, опуская перо в чернильницу, которую в этой избе заменяла привинченная на подставке к подоконнику рябая, в крапинках лампадка от образа.

Не отрываясь от писания, начальник политотдела через некоторое время, не поднимая головы и продолжая писать, сказал мрачно:

— Грязно живешь, Иван!..

И действительно, Ивану, который сидел, подперев подбородок рукой, в новом доме порадоваться было нечему. И Иван в ответ только вздохнул.

Дом-то новый, а везде беспорядок.

Какое-то тряпье на полу.

Куски каких-то досок, неубранные горшки и еще что-то.

— Через такую грязь даже и в новом доме никакого светлого будущего не увидишь, Иван, — добавил, не поднимая головы и продолжая писать, начальник политотдела.

Иван слушал молча и качал ребенка.

— Ну, я не понимаю, если у твоей жены по горло общественной работы, а ты нянчишь ребенка и ведешь дом, — заговорил, вдруг вскинувшись и бросив ручку, начальник политотдела, — то неужели у тебя нет времени вот этот стол обтереть и держать чистым, как у людей? – И, взяв какую-то тряпочку со скамейки, он стал вытирать стол.

— Я не понимаю… — говорил начальник, подходя к печке и забирая веник.

— Ну неужели нельзя подмести хату, в которой вы сами же живете и дышите вот этой грязью, — говорил начальник политотдела, уже подметая пол.

— Ну неужели, — говорил он, подходя к люльке и вытаскивая изо рта ребенка противную жвачку из каши и бросая ее в ведро, — ну неужели вы не перестанете совать в рот ребенку вот эту заразу?

И, вытащив из кармана одной рукой десятка полтора каких-то крошечных пакетиков, обернутых в папиросную бумагу, начальник политотдела развернул один, вынул новую соску и, споласкивая ее, прежде чем всунуть ребенку в рот, продолжал:

— Я просто не нахожу слов. Ты посмотри хоть, как люди живут, Иван, — говорил начальник политотдела, — в хатах у них чистота, у хаты на улице – цветы… Левкои там всякие, георгины, львиный зев, незабудочки, анютины глазки, розы… Ведь я же тебе весной семена прислал. Ну где они?

И чуть ли не вырывая из рук растерянного и бедного Ивана скатерть, которую он уже достал из сундука, и накрывая скатертью стол, говорил:

— Я просто тебя не понимаю, Иван. Умный мужик…

— Кто – умный? – спросил, недоумевая, Иван.

— Ты умный… — проговорил начальник политотдела и продолжал, — а заставляешь спать такую замечательную жену без простыни, на черт знает какой кровати… — И, стаскивая насильно спящую, которая во сне сопротивлялась и, не открывая глаз, приноравливалась броситься обратно к постели.

Начальник политотдела перетащил ее через всю избу, посадил на скамейку за стол и крикнул:

— Давай простыню, Иван.

И получив простыню и, накрывая и оправляя как следует постель и время от времени отбрасывая от себя председательницу, которая как бы инстинктивно, с закрытыми глазами находила место, где стояла ее кровать, начальник политотдела, сажая ее опять на место, говорил, обращаясь к Ивану:

— Ну разве это была кровать? Это же черт знает что такое. Так нужно стелить кровать, чтобы было приятно в ней отдохнуть!

И показывая на покрытую хорошо кровать, говорил начальник политотдела:

— А теперь посмотри, ну разве это не красота, Иван?

И, еще раз отбрасывая все еще сонную председательницу, которая инстинктивно шла к кровати, начальник политотдела, усаживая ее на место, говорил:

— Ни в коем случае не давай ложиться даже Прасковье с грязными ногами на кровать. – И, усадив ее обратно на место, начальник политотдела открыл все окна в избе и, посмотрев на обновленную избу, в которую только сейчас ворвался свежий воздух, сказал:

— Вот это я понимаю.

И тут же, резко протянув руку просыпающейся председательнице, начальник проговорил:

— Здорово.

— Здорово, — ответила все еще сонная председательница.

И, повернув громкоговоритель радио, только вошедшего в быт новой деревни, начальник политотдела дал возможность всем нам услышать, как кто-то в радиорупоре проговорил:

— А теперь оркестр под управлением известного германского дирижера Георга Себастьяна исполнит вам вступление к опере «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера.

— Я тебя слушаю, — тихо-тихо проговорил начальник политотдела.

И грянуло по радио бессмертное творение Вагнера.

И председательница колхоза под аккомпанемент этого величайшего человеческого творения медленно заговорила:

— Прошлой ночью они пытались сжечь колхоз. То, что сообщил Степок, подслушав ночью в хате, разговор своего отца со всем бывшим правлением – всей этой гвардией, оказалось, к сожалению, сущей правдой. Поджигателями оказались все когда-то бывшее правление колхоза и отец Степка, хотя его отец сам не поджигал, но был одним из организаторов поджога…

(Надо сказать, что, как только Прасковья Осипова начала рассказывать об этих событиях, в избу очень тихонько вошел маленький, толстенький, чрезвычайно добродушного вида, лысый начальник ГПУ Иван Иванович, который тихо поздоровался с Прасковьей и

Иваном Осиповыми, сел тихо на скамейку и, примостившись с краю стола, вынув блокнот и изнемогая от жары и обмахиваясь платком, стал другой рукой писать, не придерживая блокнота, иногда сопровождая рассказ Прасковьи Осиповой приблизительно таким восклицанием:

— Было такое дело. – Или просто: — Было… было…)

А Прасковья Осипова продолжала рассказывать, и фоном этого рассказа продолжало и будет служить великое творение Рихарда Вагнера, передаваемое по радио из Москвы.

— Вышли они поджигать в три часа ночи, как раз когда зашла за тучу луна. Вначале они поползли поджигать правление, чтобы сжечь все документы и тем самым не дать закончить ревизию. В общем, все они арестованы: одни – ночью, другие – днем.

— Резюмирую, — забавно, но серьезно сказала сонная председательница колхоза Прасковья Осипова, — уж очень много развелось волков. Пришлите пороху и картечи. Сенокос, как ты знаешь, мы закончили. Завтра приступаем к уборке хлебов. Час тому назад растратчик-кооператор из их же шайки Васька Кучум повесился. Председатель сельсовета, участвовавший в аресте поджигателей, ранен в голову Дмитрием Петровым, который после этого, пытавшись скрыться, сорвался с плотины на слани и там, переломав себе ребра, сдох. Мне хотели перегрызть горло. Бежавших преступников поп хотел скрыть в алтаре церкви, но мы их оттуда вынули. По нашим подсчетам, урожай этого года предполагаем раздать колхозникам килограммов по восемь на трудодень. Степок оказался кругом прав. Бога и церковь за такую работуколхозники-ударнички сегодня эвакуируют. Арестованных вечером отправляем в район. Перспективы наши блестящи. Работать очень тяжело. Все, — проговорила Прасковья.

И заголосил ее муж Иван во весь голос:

— И только за что же вы ее назначили председателем колхоза на это мучение, что она сделала плохого советской власти? – голосил Иван у самовара, который он ставил, расщепляя на лучину икону какой-то божьей матери.

— Цыц! – цыкнула на мужа Прасковья Осипова.

— Ну что это за работа среди населения! – хмуро проговорил начальник политотдела.

И, обращаясь к Ивану, ласково гладя его по голове, папаша Иван Иванович (начальник ГПУ) сказал:

— В следующий раз, как она цыкнет, ты ее цыкни…

— Но… Но… — огрызнулась Прасковья Осипова, но, кого-то увидев, она, жестом руки представляя начальнику политотдела, сказала:

— Будьте знакомы! Новое правление колхоза и бригадиры всех четырех бригад.

И, здороваясь с группой мужиков и баб, мы ясно слышим приветствия, которые говорили начальник политотдела, начальник ГПУ, бабы и мужики:

— Ивану Петровичу!.. – пожимая кому-то руку, говорил начальник политотдела.

— Василию Ивановичу, дорогому!.. – отвечал, крепко пожимая руку, старик.

И продолжалось:

— Дарье Ивановне… — Товарищу Собину…

— Семену Егоровичу… — Дяде Васеньке…

— Сидору Петровичу… — Василию Ивановичу…

— Тетушке Пелагее… — Товарищу начальнику…

— Итак, будем работать… — подтвердил старый начальник политотдела и круто спросил:

— Машины готовы?

— В исправности, — ответил кто-то за всех.

— Тракторы пришли?

— Кроме одного, который на мосту провалился…

— Лошади какой упитанности?

— Плохой – пять, средней – девяносто, хорошей – двадцать пять.

— Все бригады знают свою часть?

— Расстановка сил правильная…

— Биологический обмер и обмолот начали?

— Работают…

— Люди выверенные?

— Комсомольцы…

— Во сколько повторный смотр готовности всех бригад к урожаю, товарищ председатель?

А председательница, уже опять укладываясь спать, сквозь сон проговорила:

— В четыре. А до тех пор я все-таки буду спать и, хоть из пушек садите, — не встану.

И уснула.

И все, что-то услышав, повернули головы и, кого-то увидев, засветились трогальной улыбкой и проговорили:

— Степок…

В дверях на пороге избы действительно стоял знакомый чудесный мальчуган, который, обращаясь к старому начальнику политотдела, говорил в дверях тихо, тихо:

— Дядя Вася, мама умерла. Я без твоего разрешения приказал шоферу твоей машины немедленно ехать за доктором. Необходимо произвести вскрытие. Не будешь сердиться?

И в следующем кадре начальник политотдела и Степок бросились друг другу в объятия, так и застыли, и начальник политотдела под изумительную музыку, которую передавали из Москвы по радио, целовал, не переставая мальчика, прижимал его к своей груди, гладя его по лучистым волосикам и говоря трогательно:

— Держись, наш маленький герой. Держись мужественно… Ну, посмотри на меня… Хороший мой… Держись крепко, Степок… Не гнись, маленький герой нашего времени… Наша взяла, Степок…

И, повернувшись вместе с ним к зрителю и, обнимая, крепко-крепко Степка, старый начальник политотдела проговорил зрителю так, чтобы была ясно слышна каждая буква:

— Раздавим…

ПОСЛЕДНИЕ ХРИСТИАНЕ.

А в Тургеневе колокольный звон действительно шел отчаянный. И когда мы взглянули на колокольню маленькой церкви, окруженной толпой хохочущих колхозников, то мы там увидели растрепанного попа, который, что есть силы, звонил в церковный колокол и, очевидно, призывал откуда-то помощь.

А ТЕ, КТО ЕЩЕ ВЧЕРА МОЛИЛСЯ ВОТ ЭТОМУ БОГУ…

Ликвидировали церковь «как класс» — и толпились на паперти, у которой стояли телеги, и на телеги русские мужики штабелями складывали «бога» во всех его разновидностях.

И кричал с паперти, по которой сновало много народа, обращаясь к мужикам у телеги, грузившим на телегу какие-то станки, похожие на столы, маленький мужичок:

— Первый престол из большого предела в сельсовет. Заберите оттуда, от председателя, маленький ломаный столик. Снимите с него аккуратненько бумаги, положите их в стороночку на пол, для того чтобы ничего не перепутать, и поставьте на место маленького столика – престол. Покройте его газеточкой и бумажки в таком же порядочке положите обратно. Второй престол с правого предела везите мне в правление колхоза. Я приду, сам все спланирую. Третий престол из левого предела – в правление колхоза «Бежин луг». Там тоже черт знает, на чем пишут.

И когда мы с вами попадаем в церковь, — куда бы ни упирался наш взгляд, везде мы видим работающих людей. Отовсюду шел треск ломаемого дерева, который и будет нам служить лейтмотивом всей сцены в церкви.

Некоторые забирались высоко, например, на алтарь, и там что-то делали. (Причем все, что происходит в церкви, должно носить характер величайшего народного празднества. Здесь не должно быть допущено неправильного съемочного толкования. Здесь – никакого мрака, здесь все светло, радостно и предельно празднично).

И посреди церкви, в которой толпилось много людей, стоял смешной, маленький, крошечный мужичок с ноготок и громким голосом отдавал распоряжения:

— Товарищи колхозники, уважаемые последние христиане. Я, как заместитель председателя сельсовета, еще раз прошу вас вести себя прилично. Иконы обухом топора не вышибать. Грубостей не допущу. Вынимать их корректно. Помните, что материал пригодится, мало ли на что. Товарищи партийцы и комсомольцы, от имени партийной организации прошу следить за порядком.

ЧТО С ПРАВОСЛАВНЫМ НАРОДОМ, ГОСПОДИ, ГДЕ ПРАВОСЛАВНЫЙ НАРОД?

И вот перед нами, против бывшего изображения Саваофа, примостившегося в облаках, высоко на стене церкви стоял один из представителей этого русского народа с ломом в руке и, другою рукой крестясь, говорил, раздумывая:

— Ну как бы мне это, гражданин, спустить вас с небес на землю?

Другие рядом высаживали иконы какой-то божьей матери, причем, вынимавший из рамы иконы мужик говорил божьей матери:

— Ну, довольно, старуха…Насиделась, хватит… Вылезай…

И проговорил в другом месте какой-то мужик мужику, работая:

— Что с попом все-таки делать? Звонит все еще, сволочь.

— Ну что ж, что звонит… — проговорил другой мужик, которому этот вопрос явно мешал работать.

— Ну сколько он может звонить… Ну я беру как максимум еще часа полтора, не больше. Позвонит, позвонит и перестанет…

— Отчего звонит-то, дурак, — сказал еще третий мужичок, трудолюбиво выковыривая какую-то иконку.

— Кроме нас, все равно никого нет. А мы все здесь. Позвонит, позвонит да, может, и спрыгнет сдуру с колокольни, да прямо на землю.

— Дай бог… — сказала просто, вздохнув, какая-то баба и вывернула из гнезда какую-то иконку, которая с грохотом упала на пол.

А когда какая-то забравшаяся в церковь старушка тихо, так, чтобы никто не видал, опустилась за колонной на колени и начала молиться,

Икона какой-то божьей матери вдруг на наших глазах начала выходить из своей рамы,

И когда старушка подняла голову, шепча трогательную какую-то молитву, и взглянула на икону,

То вместо нее в пустой раме уже торчал, как портрет, с другой стороны какой-то чудесный улыбающийся пионер.

Колхозницы тоже принимали участие. И какая-то баба остановилась перед иконой, на которой была нарисована женщина, трогательно и задумчиво сказала:

— День моего ангела…

И потом тут же начала долбить ломиком, выворачивая икону с ее места, кому-то крича:

— Помоги, Прасковья, не лезет!..

Но самое замечательное началось тогда, когда кто-то вдруг крикнул в алтарь из середины церкви:

— Бабочки, спели бы хоть что-нибудь…

И работающие в алтаре, ликвидирующие алтарь женщины-колхозницы, которым по закону божьему вообще воспрещалось туда входить, под неистовый треск, который будет фоном для всего действия в церкви, замечательно запели…

И эту песнь, сидя на подоконнике, задумчиво слушал и о чем-то думал старавшийся прикурить от огнива цигарку какой-то старый колхозник,по-казачьему, набекрень напяливший на свою голову митру.

И под эту песнь за прилавком, за которым торговали свечами, колхозники роются в шкафу, разбираясь в бумагах архива церкви.

И читая мужикам, девушкам и бабам какую-то бумагу, мужик в очках говорил:

— «Свидетельство…»

— «Дано сие предъявительнице сего Орловской губернии, Мценского уезда, села Спасского, принадлежащего Камер-Секретарю Ивану Сергеевичу Тургеневу, крепостной девке…»

— Девка… Хм… — послышалось в толпе мужиков, баб и девушек. – Уж писали бы просто…

И закрыла какая-то баба мужику рот рукой.

И, продолжая, старик читал:

— «… девке… Аграфене Антоновой, положенной по сказке в сем селе Спасском, в том, что дозволяется ей от господина своего выйти в замужество в Черненский уезд, в имение Надворного Советника Николая Сергеевича Тургенева».

— Это значит – к нам… К братцу его… — послышалось в толпе мужиков, баб и девушек.

И, продолжая, читал старик:

— «…Николая Сергеевича Тургенева, в село «Стекольная слободка»…»

— Куда?.. – переспросили в толпе.

— Да в колхоз… в «Венеру»… — проговорили в толпе, недовольные тем, что помешали слушать.

— «…за крепостного крестьянина, — продолжал читать старик, — Евстигнея Васильева, получившего от своего господина такое же дозволение на женитьбу…»

И продолжал старик:

— «…в удостоверение сего свидетельствую: Иван Тургенев».

И старик показал зрителю собственноручную подпись Ивана Сергеевича Тургенева на бумаге.

— Спасибо, что хоть жениться разрешали… — проговорили в толпе, расходясь в разные стороны, присоединяясь к песне, и гремела песнь.

И пелась песнь, и работали так: вынутые из своих гнезд иконы ставились в ряд к стене, так что получалась целая развернутая галерея типов, в которую всматриваясь, какой-то старик в очках в толпе, обращаясь к окружающим, но не поворачивая головы, сказал:

— И как это мы раньше не замечали. Ведь это же типичные контрреволюционеры. Ах…

Кто что нес: кто – плащаницу, кто – ризы, кто – налой. То, что не грузилось на телеге, складывалось к стене.

Тут к одному из комсомольцев, следившему за порядком, как-то боком подошел с маленькой иконкой в руках, которую он держал за спиной, какой-то тургеневский старичок и, предварительно перекрестившись где-то за углом на икону, трогательно попросил разрешения:

— …взять на память… Ну, может, и помолиться, как верующему еще человеку. Разреши, Николаша, взять к себе домой эту иконку, честное слово, никому не скажу.

И когда комсомолец ответил отказом, то старик обиделся и, обиженно проговорив:

— Пожалел для меня дерьма…

швырнул икону так, что от нее только щепки полетели.

— На, возьми… — пробурчал он…

И тут же начал ожесточенно долбить кувалдой какого-то черного святого в раме.

— Ничего не понимаю… — проговорил пораженный поведением старика комсомолец.

И когда тут же раздался невероятный треск, и все повернули головы и испуганно воскликнули:

— Что делает, что делает этот человек?

Мы увидели в одном из алтарей церкви чудовищно здорового мужика который, как сорвавшийся с цепи медведь, ломал, крушил, подминал под себя все, что было для него когда-то священным…

— Ай… — орали бабы и мужики, бросались в сторону, чтобы не убило.

И что-то падало, громыхало, как землетрясение, и говорили в толпе:

— А ведь какой мужик смирный был, а как простыл в германскую, нервный такой стал к богу, прямо не дай бог… Что у них там с богом вышло, прямо не знаю…

— Ай… — истерически кричали голоса – и во все стороны.

И опять что-то падало, громыхая, как землетрясение…

И пелась песнь, и знакомый нам старик в митре, высоко подняв в воздух на руках какого-то маленького, толстенького, как кубышка, мальчугана, ростом с обыкновенный русский сапог, кричал ему сквозь песнь и грохот в церкви:

— Архип, что делается… Ты смотри, что делается… Ты ни черта не понимаешь, Архип… Мне бы твои года сейчас, Архип… Дай мне твои года… Слышишь…

И кричал мальчик:

— Только урони… Только урони меня, — сердито кричал он басом, болтаясь и барахтаясь в могучих руках старика.

А посреди церкви, окружив старого учителя, стояло человек пятьдесят крошечных чудесных ребят, и под песнь, которую пели в алтаре бабы, и грохот в церкви, народнического вида учитель обессилено отвечал пристававшим к нему с вопросами октябрятам.

— А вот все-таки ему молились…

И какая-то девочка-крошка спросила:

— Ну а чему молились?

Уже вытирая пот платком, отвечал измученный руководитель:

— Молились вот этим деревянным разрисованным доскам, которые назывались иконами и которые были развешаны в этих храмах.

И спросил какой-то октябренок:

— А как?

Вытирая пот платком, еле отвечал измученный руководитель:

— Молились стоя и на коленях…

И спрашивала девочка-октябренок:

— А зачем на коленях?

Выжимая платок, вдребезги измученный руководитель еле говорил:

— Верующие, очевидно, были убеждены в том, что чем больше неудобств, тем усерднее молитва и скорее она дойдет до бога.

Учитель еще стоял.

Какая-то девочка-октябренок сказала:

— Странно…

И какой-то октябренок, обращаясь к теряющему сознание руководителю, улыбаясь, сказал:

— А потом я вам задам еще вопрос…

И, как сноп, грохнулся руководитель на землю.

Лучистые стояли дети, не понимая – неужели они могли довести до того, что он даже потерял сознание, и какой-то маленький клоп проговорил:

— Чтобы я еще раз пришел когда-нибудь в церковь… Можете быть уверены. Это же ерунда, и ничего больше.

— Как вы изволили выразиться?.. – спросил клопа-октябренка старик среди стариков.

— Ерунда, — проговорил с расстановкой крошка.

— Вам виднее, конечно, — проговорил с почтением старик. – Это мы темнота. А вам и карты в руки. Вы люди культурные.

— Марксисты, — проговорил другой старик.

— Академики, — проговорил третий.

И пелась песнь, и, орудуя наверху, чуть ли не под сводами храма, где-то на корпусе алтаря, около самого «святого духа», какой-то парнишечка-комсомолец кричал, что-то швыряя вниз:

— По-бе-ре-ги-сь!

И орал на него, съежившись и уклоняясь от удара, какой-то сидевший на приступочке рядом со стариком мужик пожилой.

— Тихо ты, черт! – кричал он.

— Отца убьешь! – орал сидевший рядом с мужиком старик.

— Тихо! Тебе говорят!.. – кричал опять мужик, ежась и уклоняясь, когда где-то опять рядом как громыхнет…

И хохотал старик…

— Вырос сынишка-то, — говорил он радостно и любуясь, — справный получился, ровный паренек.

— Мой-то? – спросил пожилой мужик, поглядывая наверх, — А что ж ему делается! Ведь в нашу породу пошел. Ну возьми, к примеру, меня, моего отца возьми, его деда, — девяносто два года, а ты смотри-ка, что он выковыривает…

— Поберегись! – орет басом красивый, бодрый старик, напирая плечом на плавно падающий целый иконостас с архангелом Гавриилом и прочими.

И как загремит, задрожит все кругом, когда повалился весь этот иконостас на землю.

И кричали, визжали кругом от страха, ежась к стенкам, бабы и мужики:

— Чтоб тебя, идола, съели черти. Что ты, с ума сошел?.. Убить хочешь, здоровый черт. Когда ты только умрешь, холера…

А старик опять:

— Поберегись! – рычал и напирал могучим плечом на плавно падающий другой целый иконостас с какими-то другими святыми.

И опять: как загремит, задрожит все кругом, когда повалился этот иконостас на землю.

И смеялись кругом, ежась к стенкам, бабы и мужики:

— Что ты, сказился, что ли… Убить хочешь. Вяжите его.

А старик опять:

— Держись, господи… — рычал и опять напирал могучим плечом на плавно падающий третий иконостас, вывороченный им со своего места.

И опять: как загремит, задрожит все кругом, когда повалился этот иконостас на землю.

И сильнее гремела песнь, громыхало, трещало со всех сторон в церкви, и знакомый нам старик в митре, опять поймав где-то своего Архипа маленького и подняв его опять в воздух, кричал:

— Архип, что делается… Ты смотри, что делается… Ты ни черта не понимаешь, Архип… Мне бы твои года, Архип… Дай мне твои года… Слышишь…

И кричал мальчуган басом, барахтаясь на длинных и могучих руках старика:

— Только урони… Только урони меня…

А на улице перед церковью знакомый нам маленький, рыженький мужичонка с красным бантом кричал истошно звонящему в колокол попу, сложив руки рупором:

— Батюшка, ну надо же кончать! Слышите, батюшка. Не верим! Звоните, не звоните, все равно не верим. Довольно, батюшка! Слазьте!..

Но все это достигает своего апогея тогда, когда в этот размах песни и криков у церкви врезался крик пьяного отца Степка среди пьяных арестованных, шагающих вдали от церкви под конвоем в район.

— Спасибо, сынок!.. Спасибо, родной!.. Спасибо за то, что погубил невинного!..

А тот, к кому обращались эти слова, сидел среди расположившейся на траве перед церковью громадной, празднично одетой толпы, которая пела песни, и пел вместе с ней и не слышал отца.

Но отец Степка не унимался. Это он, арестованный и пьяный, стараясь перекричать все, кричал:

— За что погубил, сынок?.. Не погибни, сынок!.. Прощай, сирота!.. Засоли огурцы хоть на зиму!..

А Степок пел вместе со всеми, пел одну из замечательных старинных народных песен, которых так много в этих местах.

— Будь счастлив, прощай, сынок, будь счастлив!.. – крикнул арестованный отец сыну уже с пыльной проселочной дороги, по которой, сопровождаемые эхом веселья и песен, бушующих в исчезающем за склоном холма колхозе, уходили арестованные под конвоем.

А в избе Осиповых какая-то чудесная девочка-пионерка, отчитываясь, как взрослая, говорила начальнику политотдела:

— С организацией бригад по охране урожая у нашей пионерии дело благополучно. Сбор оставшихся на полях колосков будет обеспечен.

Заговорил дальше ребенок, рисуя какие-то куколки, елочки, солнышко на бумаге:

— Расставлены силы. Распределены участки. Ребята подобраны. Вышки везде построены. Связь между вышками и штабом установлена. Неполадки заранее устранены. Можешь проверить, — говорил ребенок, рисуя какую-то картиночку.

А начальник политотдела, шагая по избе, слушал ребенка, потом подошел, взглянул, что рисовал ребенок, и, продолжая слушать его, вынул свой карандаш, поправил что-то, добавил что-то в рисуночке и, как будто так и надо, отошел молча, продолжая слушать ребенка, который и рисовал и говорил:

— Что же касается положения нашего Степка после того, как он выдал отца и всю эту банду, — то положение Степка становится в личном плане незавидным. Отец арестовывается. Мать умирает от побоев. В доме один Степок, на шее у которого – вся оставшаяся семья. Ему надо помочь.

— Все будет сделано, — ответил начальник политотдела.

— Только, конечно, не на словах, а на деле, — сказал ребенок. – А то, поскольку мне приходится тебя наблюдать, ты человек очень хороший, но иногда очень горячо берешься за что-нибудь, а когда дело подходит, ты остываешь. Ты меня понял?

— Но это ты неверно, по-моему, говоришь, — сказал начальник политотдела, не переставая ходить. – А впрочем…

— Было… Было… — настойчиво, но мягко проговорил ребенок. – Если подумаешь хорошенько, то вспомнишь.

— Возможно, ты права. Даже наверно права, — серьезно и искренне сказал старый начальник политотдела. – Да, черт его знает, иногда кажется, что все предусмотрел, — оказывается, нет. Ну, ты, конечно, права. Промахи есть… Что дальше?

— Больше, пожалуй, ничего, — проговорил спокойно ребенок, рисуя. – Остальное тебе расскажет Степок. Насчет моего отца тоже подумать следует, хороший человек, но пьет сильно. Хочешь, я подарю тебе на память эту картиночку? – спросил ребенок, показывая на то, что рисовал.

— Подари, пожалуйста, — сказал трогательно старый начальник.

— Ну пока, — проговорил ребенок.

— Пока, дорогой друг, — пожимая руку, проговорил начальник.

— Приходи сегодня на пленум сельсовета, — проговорил ребенок.

— А сегодня что, расширенный? – спросил начальник.

— У нас не расширенных не бывает, — ответил ребенок и ушел.

Начальник политотдела остался один и замер, раздумывая над рисунком, а потом обратился к зрителю и сказал:

— Вот если бы художники в свое мастерство вложили столько же чувства, сколько вложено сюда этим ребенком, то действительно рисовали бы так, как надо.

И показал зрителю этот рисунок, поясняя:

— Это, по мысли чудесного ребенка, должно изображать бесклассовое общество.

И, уже обращаясь к председателю колхоза Прасковье Осиповой, которой он показывал эту картинку, старый начальник восторженно говорил:

— Ты только посмотри, ты только посмотри, дура ты этакая, сколько здесь солнца, сколько здесь воздуха, земли, моря, цветов, счастливых людей… — говорил старый начальник, начиная будить Прасковью Осипову.

— Ты посмотри, сколько здесь счастья, ты посмотри, какие здесь радостные лица, сколько музыки в этом представлении у ребенка о бесклассовом обществе, и думаешь ли ты, чертова кукла, хоть во сне о нем?

И, смеясь, ответила, уже застегивая перед зеркалом последнюю пуговицу хорошего синего костюма и при галстуке, собравшаяся на смотр, все еще окончательно не проснувшаяся председательница колхоза:

— Меня интересует сегодня в бесклассовом обществе лишь одно – сумею ли я в этом бесклассовом обществе выспаться как следует. Пошли работать…

И вышли из избы на улицу.

А вдали на деревне, окруженный баянами, какой-то старик на лужайке уже перед совершенно пустой церковью, приплясывая, распевал веселые частушки:

«Бог с неба упал

со всего размаху,

зацепил за сельсовет –

разорвал рубаху».

В ОБЩЕМ, КАК ВЫ УЖЕ СУМЕЛИ ЕЩЕ РАЗ УБЕДИТЬСЯ, ПОГОДА БЫЛА В ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ ИЮЛЬСКИЙ ДЕНЬ ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ, КАК И СТО ЛЕТ НАЗАД.

А арестованные поджигатели под конвоем все дальше и дальше удалялись от родных мест, изредка оборачивая свои взгляды на вдалеке виднеющийся колхоз, откуда все еще слышалась песня.

И вот уже скрылся колхоз за холмом и не слышно песни. Тихо кругом в этой размашистой среднерусской возвышенности, где много воздуха и где много простора. И когда в наступившей тишине и наступающей темноте на наших глазах арестованные под конвоем спустились в один из оврагов, в который уходила дорога, то случилось следующее: вместо того чтобы выйти из оврага и подняться на противоположный склон, на то место, где стоим мы с вами на дороге, по которой обязательно должны были пройти арестованные и конвой, мы вдруг видим, как на поверхность земли вместо долго не поднимающихся людей вылетела из оврага на одну секунду чья-то шапка и упала обратно в овраг, а потом, когда к тому месту, где мы стоим, подошла, направляясь по дороге через овраг, какая-то деревенская женщина с девочкой лет пяти-шести и, что-то увидев в овраге, судорожно всплеснув руками и схватив за руку девочку, бросилась назад, — мы услышали, как в овраге кто-то здорово заиграл на баяне знаменитое «яблочко» и на край оврага медленно вышли, уже без конвоя, мрачные все шесть человек пьяных преступников, в изорванных рубахах, один из которых по молчаливому решению всех молниеносно бросился на землю, стремительно стащил с себя сапоги и понесся, как стрела, очевидно, догонять убегающую женщину с девочкой, которая стала невольным свидетелем только что совершенного преступления, а остальные остались тут же на месте, на краю оврага, и мрачно, под неистовую игру на баяне «яблочка», наблюдали погоню.

И если бы вы видели, с каким отчаянием бежала изо всех сил женщина, волоча за ручку обезумевшую от страха и обессиленную девочку, стараясь уйти от погони…

А погоня, как пуля, вырвалась из-под аппарата и, как ястреб, стремительно понеслась, молниеносно сокращая расстояние между собой и обреченной жертвой, которая вдруг остановилась и, подняв испуганного насмерть ребенка на руки, застыла со скорбным, полным обреченности, но спокойным лицом, как рисовал на своих полотнах великий Микельанджело, и через мгновение ее и ребенка, как налетающий на фонарный столб со страшной силой автомобиль, сбил и вынес молниеносно из кадра налетевший убийца.

И, не сдвигая ни на один сантиметр нашей точки зрения (точки продолжающего снимать аппарата), мы через большой промежуток времени увидим, как в этом пустом кадре, который только и был заполнен после исчезновения женщины, ребенка и убийцы тургеневским ландшафтом и музыкой играющего где-то баяна, вдали у леса сошлись с одной стороны пять преступников, один из которых продолжал играть на баяне, а с другой – убийца женщины и ребенка и, соединившись вместе и не останавливаясь, скрылись в лесу.

«К ВЕЧЕРУ ЭТИ ОБЛАКА ИСЧЕЗАЮТ, ПОСЛЕДНИЕ ИЗ НИХ, ЧЕРНОВАТЫЕ И НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ, КАК ДЫМ, ЛОЖАТСЯ РОЗОВЫМИ КЛУБАМИ НАПРОТИВ ЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА…» И.С. Тургенев. Бежин луг.

Стало темнее. Резкие и отчетливые линии, выпуклости, разграничения красок начинают исчезать. Начинают преобладать полутона и удивительная мягкость рисунка, любого эскиза, в котором мы показываем уголок природы этих тургеневских мест.

«НА МЕСТЕ, ГДЕ СОЛНЦЕ ЗАКАТИЛОСЬ ТАК ЖЕ СПОКОЙНО, КАК СПОКОЙНО ВЗОШЛО НА НЕБО, — АЛОЕ СИЯНИЕ СТОИТ НЕДОЛГОЕ ВРЕМЯ НАД ПОТЕМНЕВШЕЙ ЗЕМЛЕЙ…»

Ничто не нарушает этой торжественности природы. Тихо кругом.

Птицы уже уселись на ветки деревьев.

Стадо гусей, подгоняемое какой-то поющей маленькой девочкой, которая в маленькой лодочке стоя гребла, плыло, покрикивая, к своему ночлегу.

Вот о такой минуте беспримерного покоя и пишет Иван Сергеевич Тургенев:

«…И ТИХО МИГАЯ, КАК БЕРЕЖНО НЕСОМАЯ СВЕЧКА, ЗАТЕПЛИТСЯ НА НЕБЕ ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА».

И стало еще темнее.

Величественная природа стала еще явственнее принимать иные очертания, менее реальные и более фантастические, местами способные даже пугать.

И когда на одном кусочке этой засыпающей земли около убитого ребенка приподнялась, напрягая все свои силы, умирающая женщина и, поднявшись во весь рост, крикнула изо всех своих последних сил:

— П-о-м-о-г-и-т-е…

и тут же упала мертвая,

то какой-то прохожий, очевидно «истинно православный» тургеневский старичок, услыхав с далекой дороги далекое «п-о-м-о-г-и-т-е», прошептал:

— Убивают, — и перекрестился.

И, как бы в ответ на это, беспокойно спросил, оправдываясь перед нами и своей совестью:

— А чем же я еще могу помочь?

И прислушавшись еще раз к зловещей тишине, злобно сказал:

— Подите сами.

А В ТОМ ДОМЕ, ГДЕ, ПО ОПИСАНИЮ ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА В ЗНАМЕНИТОЙ ПОВЕСТИ «БЕЖИН ЛУГ», ВОДИЛИСЬ ЧЕРТИ И ВСЯКАЯ ДРУГАЯ НЕЧИСТЬ…

В маленьком домике находился политотдел МТС.

В общем политотдел жил своей обычной жизнью.

Кто в политотдел, кто – оттуда.

И вот всем этим набит до отказа и всем этим гудит, как пчелиный улей, политотдел.

Кто с другом шепчется на ухо. Кто друг другу показывает в газете на что-то, кто-то кого-то подзывает… Но шум такой, что как работает здесь машинистка, как работает делопроизводитель в этих условиях, как работает секретарь политотдела, — просто непонятно. Все они окружены даже не двойной, а тройной стеной – пришедшим в политотдел за десятки верст разным людом.

Причем, если учесть, что, например, в этой каше некоторым людям почему-то весело и они хохочут во все горло;

Или какой-то бабушке очень грустно и она горько плачет с причитаниями, несмотря на то, что женорганизатор, она же один из помощников начальника политотдела, трогательно уговаривает бабушку среди рассевшихся кругом нее на стульях колхозниц и говорит бабушке, что, мол, «ну что ж теперь сделаешь, что умер, дорогая ты моя. Когда-нибудь и мы умрем. Не надо убиваться. Я понимаю, тяжело. Век прожили, золотые руки были у человека, и вдруг не стало его. У меня тоже недавно мама умерла». – И у женорганизатора, вспомнившего о своей матери, тоже появляются на глазах слезы,

А так как бабушка уже перебралась плакать на грудь женорга, то, глядя на это, плачут и другие женщины, которым горе бабушки и слезыженорга тоже тяжелы и небезразличны;

И если вскакивает редактор политотдельской газеты и кричит: «…Уверяю вас, товарищи, что при таких условиях работать совершенно невозможно…»,

То его все равно абсолютно никто не слушает;

Причем, если учесть, что тут же, криком крича, кто-то из политотдельцев, передавая какую-то телефонограмму по телефону, который всегда отвратительно работает, орет во все горло: «Категорически… В последний раз… За неисполнение сего… За саботаж… За срыв…» — и прочее;

Или вроде того:

«Ну где у тебя совесть, Яша? Совесть председателя колхоза, где у тебя, спрашиваю? Тоже пропил?» — спрашивает кто-то из работников политотдела какого-то оборванного человека;

или кто-то, выворачиваясь из-за угла и крича кому-то: «Поди, я тебе напишу, чтобы тебе телочку выдали. Поди сюда», — и тот громко выражает свою радость, —

то, я думаю, получится совершенно ясная картина обстановки, в которой протекает работа перед началом уборки хлебов. А о том, чтобы было чем дышать, и думать нечего. Жара невыносимая. Все пьют воду, что называется, ведрами. Кружки с водой так и ходят над головами.

Причем на долю того мужика, который притиснут толпой у окна, где стоит на подоконнике ведро с водой, работы больше всех выпало. Он уже с тупым равнодушием черпает воду кружкой, передает кружку в толпу, и можно быть совершенно уверенным, что если его сейчас спросить, зачем он и за каким делом приперся в политотдел, он, конечно, вам не ответит.

И прутся, и давят, и тискаются мужики и бабы в дверь какой-то комнаты, и без того забитой народом,

В которой между одним из измученных помощников начальника политотдела и представителем толпы колхозников происходит следующий диалог:

— Все сельскохозяйственные машины, которые прибыли в наше распоряжение, распределены до одной. На складах ничего нет, — проговорил помощник начальника политотдела.

— Пошлите еще молнию, мы телеграмму оплатим, — горячились мужики, хлопали по карману, и вытягивали бумажники и кошельки, и, по ним прихлопывая, кричали:

— Сколько хошь. Давай шпиговать телеграммы. Мне без машины лучше домой не возвращаться, — горячились мужики.

— Ты что думаешь, в Советском Союзе одна МТС, один наш район и один твой колхоз? Нет машин! – проговорил помощник начальника, обращаясь к сильно крикливому. – Неужели непонятно?

— Непонятно, товарищ Хавтерин, — проговорил вполне искренне какой-то старик.

— Ишь ты, брат, — проговорил помощник начальника, — а несколько сот лет до Октябрьской революции серпом и косой мог снимать хлеб? А сейчас непонятно стало.

— Непонятно, товарищ начальник, — упрямо и спокойно проговорил старый и седой старик. – Дай машины, и кончено.

И в то время мужики кричали:

— Без машины никак нельзя… Без машины – это гроб… От косы хлеб осыпается… Сами же будете за такую работу стегать…

— Ну зачем стегать. Вы люди сознательные, вам, по-моему, ясна задача, — проговорил, улыбаясь, помощник начальника, читая какую-то записку.

— А серпом такой сильный хлеб и до рождества снимать не закончишь, — горячились мужики.

А помощник начальника читал только что перед этим поданную кем-то через головы других записку в которой было написано следующее:

«Устройте мне для вновь организованного колхоза, обязательно потихоньку, три жатки. Мне до зарезу надо. Устройте, пожалуйста. Я этим жабам никому не скажу (и подчеркнуто), даю честное слово… (И подписано) Председатель колхоза «Нагасаки», бывший трюмный эскадренного миноносца «Стерегущий» Петр Степанов».

— Я здесь, товарищ начальник! – кричит через головы других здоровенный детина, очевидно автор этой записки.

А в это время помощник начальника писал уже на записке резолюцию следующего содержания:

«Оштрафовать на десять трудодней. Сообщить в правление колхоза и напечатать эту записку в газете». (Подпись.)

— Покорнейше благодарю, — прокричал мужик, принимая через голову других записку, которую ему передал с таким же конфиденциальным видом помощник начальника.

— Будьте любезны, — вежливо проговорил помощник начальника и добавил: — К секретарю.

— Есть – к секретарю! – проорал через головы других трюмный.

И, продолжая свою мысль, помощник начальника спокойно подтвердил мужичкам:

— Придется снимать рожь косами. Причем без всяких потерь.

И загалдели мужики:

— Не будем… И думать нечего. Давайте телеграмму в Москву. Не будем снимать косами хлеб… Вредительство… Мало заводов – давайте еще строить… — горячились мужики, и опять хлопали по карманам, и опять вытягивали бумажники и кошельки, и, по ним прихлопывая, кричали:

— Выпускайте еще заем – денег дадим сколько хошь. Давайте машины, а то уборочную провалим как пить дать.

Появился, протискиваясь в толпе, улыбающийся старый начальник политотдела.

И, радостно здороваясь, загалдели мужики, пожимая начальнику руку, и слышалось:

— Дарье Ивановне… — Товарищи Собину…

— Семену Егоровичу… — Дяде Васеньке…

— Ивану Ивановичу… — Я вас приветствую…

— Сидору Петровичу… — Василию Ивановичу…

— Тетушке Пелагее… — Товарищу начальнику…

— Итак, будем работать… Считаю разговоры оконченными. За работу, — проговорил старый начальник и, еле протискавшись в какую-то комнату, закрыл за собой дверь.

И как сыпанули мужички из политотдела:

Кто бегом, кто верхом, кто на телегах – понеслись к своим колхозам с шумом, стоном, криками по лесным дорогам.

А старый начальник политотдела в другой комнате подошел к столу и стал говорить в микрофон, обложив себя со всех сторон сводками:

— Алло… Радиоузел?

В радиорупоре, как полагается, вначале что-то похрипело немножко, а потом чей-то голос проговорил:

— Радиоузел отвечает…

— Ну как, готово? – спросил старый начальник.

— Все в порядке.

— Проверили? Все председатели колхозов собрались по своим сельсоветам у микрофонов?

— Точное количество собравшихся не могу сообщить, — раздалось в рупоре. – Во всяком случае, отвечают все сельсоветы.

— Ну, давайте-ка мне Троицко-Бачурский сельсовет, — попросил старый начальник.

И слышно, как в эфир кто-то приказывал:

— Алло… Алло… Троицкое-Бачурино… Алло… Троицкое-Бачурино…

И мы видим в наступающей темноте большую дорогу. Около дороги – телеграфные провода. На дороге – воющую на луну собаку. И вдали, в темноте, — виднеющееся Троицкое-Бачурино, которое молчит и не отзывается на раздающиеся в эфире призывы.

Причем, только когда мы переходим к зданию сельсовета, мы видим, как зашевелились от призыва в эфире собравшиеся у наушников и маленького громкоговорителя все председатели колхозов и сельсовета. И если бы вы видели эти лица с наушниками на ушах в комнате, в которой накурено предельно, и, очевидно, председатель сельсовета с повязкой на щеке и, несомненно, с невероятной зубной болью в телефонную трубку, которая здесь заменяет микрофон, сказал:

— Алло… Троицкое-Бачурино слушает.

— Почему долго не отвечаете? – раздался голос начальника политотдела в рупор. – Так не годится, товарищи, ведь вы не одни. Этак мы затянем перекличку на черт знает какое время, — говорит Василий Иванович. – Кто у микрофона?

— Это я, Василий Иванович. Ой… Степа… Ой… — ответил мужик с зубной болью.

— Кто? – переспросил Василий Иванович.

— Степа, председатель сельсовета. Ой… — проговорил, еле превозмогая зубную боль, мужичок.

— Ах, Степа… Здравствуй, Степа. Что тебя плохо слышно. Опять зубы болят?

Мужики так и заерзали на своих местах, улыбаясь и выражая на своих физиономиях удовольствие, что, мол, «все знает этот человек».

— Да тише вы… — огрызнулся на мужиков председатель и заговорил в микрофон: — Зубы болят опять, Василий Иванович. Прямо на стену лезу…

— Я тебе несколько раз говорил, — раздался голос начальника, — что зубы нужно немедленно лечить. Иметь плохие зубы – это просто некультурно, Степа. Это просто не по-советски, и, наконец, это мешает работе. Как дела у тебя, Степа? Все колхозы твоего сельсовета кончили сенокос? Приступаете ли завтра к уборке хлебов? Кто с сенокосом влезает в уборочную хлебов?

— К уборке хлебов приступаем завтра, Василий Иванович. Сенокос закончили все, кроме колхоза «Венера», — проговорил председатель.

— А председатель «Венеры» сейчас в сельсовете? – раздается голос начальника.

— Здесь.

— Давай его сюда.

— Здравствуйте, Василий Иванович, — проговорил молодой парень, председатель колхоза «Венера».

— Здравствуй, Гриша, — раздался ласковый голос начальника. – Гриша, что же это ты, батенька мой, зашился?

— Завтра закончу, Василий Иванович, — ответил уверенно Гриша.

— Ну, а скажи, — послышался голос начальника, — как коммунист коммунисту: закончишь завтра?

— Нет, Василий Иванович, — проговорил Гриша сконфуженно.

— Так какого же ты черта мне врешь? – заклокотало в рупоре.

— Послезавтра обязательно закончу сенокос, — проговорил Гриша, — и немедленно приступлю к уборке. Вы ведь сами знаете, какой у меня колхоз. Я в одну свою конюшню соберу все колхозы нашего сельсовета, закрою дверь, и вы их не найдете, — проговорил Гриша.

— Тем более, — послышался голос начальника. – Гигант колхоз, председатель – комсомолец, народ все сознательный…

— Какой, к черту, сознательный, — проговорил Гриша. – Молодежь развинтилась больно, Василий Иванович.

— То есть как так? – послышался голос начальника.

— Да уж больно ребята, понимаете ли, Василий Иванович, распустились. На уборку приходят сонные, ночью не спят, колобродят с девушками до зари, а на заре – косить. Ну какой он, к черту, работник после этого.

— А комсомол? – послышался голос начальника.

— А комсомол, как всегда, впереди. Дело такое, сами понимаете. Собственно, работать они работают крепко, но вы понимаете…

— Ах вот какие разговоры… А Настенька в сельсовете? – раздался голос начальника.

— Здесь.

— Дай-ка ее к микрофону.

— Здравствуйте, Василий Иванович, — проговорила в трубку очень красивая девушка.

— Здравствуйте, Настенька. Настенька, все это очень хорошо, красиво и занимательно, но сейчас это никуда не годится, Настенька, — проговорил начальник и продолжал: — Настенька, у меня к тебе внеочередное задание…

— Я вас слушаю, Василий Иванович, — проговорила девушка.

— Сможешь ли ты, — послышался в рупоре голос начальника, — уговорить девушек, недельки этак на две, не выходить после работы совсем, а если выходить, то возвращаться домой не позже одиннадцати?

— Будет сделано, Василий Иванович, — проговорила, смеясь, красивая девушка. И если бы видели вы огорченные физиономии присутствующих комсомольцев.

— Дай-ка опять Гришу, Настенька. До свидания, Настенька.

— До свидания, Василий Иванович, — проговорила девушка и передала трубку Грише.

— Я вас слушаю, — проговорил Гриша.

— Четвертой бригады – бригадира Петрова сменил, Гриша?

— Сменил, Василий Иванович.

— Кто теперь бригадиром? – спросил начальник.

— Иванов, — проговорил Гриша.

— Прошка? – послышался голос начальника.

— Прошка, Василий Иванович.

— Лодыря и бездельника убрали, а пьяницу выбрали. Здорово, — послышался раздраженный голос начальника.

— Он обещал не пить, товарищ начальник, — проговорил Гриша, лихорадочно подзывая к микрофону присутствующего здесь Прошку.

— Не верю… Не верю в чудеса… — убежденно говорил в микрофон начальник.

— Не буду пить, — проговорил Прошка, толкаемый Гришей к микрофону. И опять тихо: — Не буду, Василий Иванович, даю честное слово.

— Ах, это ты, Прохор? – послышался голос начальника. – Ну и хитрые же. Здравствуй, Прохор. Ну, так как же будем с тобой?

— Не буду пить, Василий Иванович. Ей-богу, не буду, — проговорил уверенно Прохор.

— Ну, а скажи честно, — послышался голос Василия Ивановича, — как порядочный человек скажи: вот если бы сейчас я тебе преподнес шкалик… Выпил бы? А?

— А есть? – страдальчески произнес Прохор, и мужики загрохотали.

— Ну, давайте спокойнее, давайте спокойнее, — послышался в микрофон голос начальника, который сам смеялся. – Прохор, пусть будет так. Я тебе в последний раз верю. Парень ты хороший. Работник мог бы быть прекрасный, если б не был такой пьяница. За что тебя сняли изФрунзенского сельсовета? За пьянство. Что ж, так и продолжать думаешь? Такая замечательная жена, такие прекрасные дети, а отец – пьяница. Ну куда ж это, к черту, годится. Как здоровье жены?

— Спасибо, Василий Иванович, — проговорил Прохор.

— А как дети?

— Тоже хорошо, Василий Иванович.

— Передай им от меня привет и больше всех – Анютке. Это моя любимица. И скажи, что я ради них поверил тебе последний раз. До свидания. Дай-ка сюда Гришу.

— Я, Василий Иванович, — проговорил Гриша.

— Как, Гриша, с расстановкой рабочей силы? Каждая бригада будет знать точно свой участок и что нужно будет ей делать? Путаницы не будет, как в прошлом году? Такой хороший урожай требует еще более к себе внимательного отношения.

— Все будет в порядке, Василий Иванович, — проговорил Гриша. – Будьте покойны, обеспечим.

— Дай-ка сюда Степу, — проговорил начальник.

— Я, Василий Иванович.

— Степа, тракторы пришли? – послышался голос начальника.

— Как раз сейчас идут по дороге в колхозы.

— Обязываю тебя, Степа, проследить, — послышался голос начальника, — чтобы уборка хлебов этого года прошла образцово. Не забывайте, что на вас сегодня смотрит весь мир.

— Что он сказал? – проговорил какой-то мужик другому.

— На нас смотрит весь мир, — ответил мужик.

— Ну конечно, — проговорил, как будто это само собой разумеется, тот, кто спрашивал.

— Итак, до свидания, товарищи, — послышался голос начальника.

— До свидания, Василий Иванович, — проговорил Степа и тут же добавил:

— Василий Иванович!

— Что такое?

— Капелек от зубов пришли мне, пожалуйста, — жалобно попросил Степа.

— Обязательно завтра пришлю, — послышался голос начальника. – А у тебя как болит? Тогда, когда ты горячую воду пьешь или холодную?

— Холодную, — проговорил Степа.

— Хорошо, — послышался голос начальника. – Поговорю с врачом и пришлю обязательно, а возможно, даже сам его с собой привезу на машине. До свидания, товарищи.

— Настенька, подожди! – кричал Гриша и несся за девушкой.

Что есть силы бежала от него до тех пор девушка, пока он ее не нагнал и они не застыли в поцелуе.

Ночью по дорогам Троицкого-Бачурина ползли, переваливаясь, тракторы…

А старый начальник уже запрашивал Скуратовский сельсовет, но оттуда упорно не отвечали, не потому, что не хотели отвечать, а потому, что в этот момент, забравшись на телеграфные столбы, знакомые нам преступники из Тургенева, вышедшие ночью из леса, рвали провода, а присутствующий здесь отец Степка, зарядив винтовку, повернулся и пошел с благословения других через темнеющие поля в сторону колхоза.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ МЕСТА. ТОГО И ГЛЯДИ, ВЫ ВСТРЕТИТЕ НА НОЧНОЙ ДОРОГЕ ГЕРОЕВ ТУРГЕНЕВСКИХ «ЗАПИСОК…» — ХОРЯ И КАЛИНЫЧА, БИРЮКА ИЛИ ЗНАМЕНИТОГО КУЛАКА БУРМИСТРА СОФРОНА ИЗ ШАПИЛОВКИ.

В общем, все на месте. Особенно в темноте, когда издали не видать ни радиоантенн, которые, как паутины, переплелись над крышами деревушек, когда на церкви незаметен красный флажок, когда не выделяется из темноты трехэтажная школа деревушки, когда на два часа в сутки засыпает политотдел и мимо вас с гиканьем, по соседней дороге пронесется табун в ночное, — фантазировать можно сколько угодно и в воображении восстанавливать картины далекого прошлого, если ход ваших мыслей не осадит какой-нибудь взбесившийся грузовичок, который, как сумасшедший – чтоб он пропал, — пронесся ночью по дороге.

Долго шел отец Степка, с трудом переставляя ноги.

«Нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим на его пути.

Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над ним со всем своим таинственным великолепием.

Он повернулся в кусты и вдруг очутился над страшной бездной и, быстро отдернув занесенную ногу, перекрестился. Сквозь едва прозрачный сумрак ночи он увидел далеко перед собой огромную равнину».

БЕЖИН ЛУГ (ТАК НАЗЫВАЛАСЬ СЛАВИВШАЯСЯ ПО ВСЕМУ ОКОЛОТКУ ЭТА МЕСТНОСТЬ).

И вначале далекой, а потом все приближающейся, полной волнующей поступи, суровой и мощной музыкой, мотив которой должен быть в полном противоречии с кажущимся представлением, что музыка, которая будет сопровождать «Бежин луг», должна быть, если так можно выразиться, по-тургеневски лирична, — повторяю, наша музыка, нашего «Бежина луга», должна быть органически связана с нашим великим временем, с его характером, с его лирикой, с его суровостью, с его мощью, лучшей из идей за все время существования человечества – и вот этой музыкой мы и встретим наш Бежин луг.

Наша встреча с Бежиным лугом ночью – это концерт.

«Широкая река, — пишет Иван Сергеевич, — огибала его уходящим от него полукругом, стальные отблески воды, изредка и смутно, обозначали ее течение, а прямо перед ним, в глубине равнины, возле речки, которая в этом месте стояла неподвижным зеркалом под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два костра».

Пусть будет так же и теперь, так как издали, ночью все и сегодня, как восемьдесят пять лет назад.

(Я лично был на Бежином луге, очевидно, тоже в такую же душистую, размашистую, летнюю русскую ночь, по колено в полевых цветах, когда весь наш земной шар, как одинокий слушатель в необъятном концертном зале, вслушивался в величественный оркестр сияющих в бездонном, черном небе кристальных и трепетных зеленых, зеленых звезд…)

Зеленые звезды мы заменяем музыкой, пусть вокруг костров и в ночной реке, купаясь, копошатся дети.

Пусть еще дети на своих неоседланных лошадях стремительно спускаются стаями с окружающих холмов.

А другие уже, как львята, вцепившись в гривы испуганных лошадей, во весь дух несутся по лугу, с разных сторон встречаясь, сталкиваясь, приветствуя друг друга, собираясь в ночное…

И слышатся в темноте вопросы, ответы, крики, возгласы:

— Здорово!.. – Здорово!..

— Ну, как? – Нет еще…

— Николай?.. – Петька…

— Начали?.. – Нет…

— Уже? – Нет еще…

— Ванюшка!.. – Фаддей…

— В чем дело?.. – Сено возили…

И пусть лохматые собаки носятся вокруг костров.

Пусть в свете костров мимо шалашей на Бежином луге проносятся на своих конях приветствуемые товарищами все вновь прибывающие дети.

Чтобы везде были дети. Дети, спутывающие при свете полыхающих головешек ноги коней.

Дети, купающиеся в ночной реке.

Пусть детские звонкие голоса как можно громче раздаются по равнине…

И когда прогремят фанфары и грянет величественная песнь, песнь, которую будут петь дети на Бежином луге ночью, — пусть горят костры, и горят как можно ярче и отчаяннее.

Песнь гремела.

Что-то прошептав, отец Степка повернулся и пошел в сторону от обрыва.

И через несколько минут, перебравшись через изгородь, сделав несколько шагов, встретил на своем пути столб, на столбе была доска, а на доске было написано: «Курить строго воспрещается».

Дымя цигаркой и не обращая внимания на надпись, он шагал, настороженный, дальше и, встретив на своем пути следующий столб, на котором была прибита доска, и на доске было написано: «Прекратите курить», озираясь по сторонам, плюнул на ладонь и погасил о голую ладонь цигарку.

Он миновал столб, еще более настороженный, и, все время оглядываясь по сторонам, нагнулся и, пробежав в таком положении десятка три шагов, застыл, прижавшись к последнему столбу, на котором была прибита доска и на доске было написано: «Брось папироску».

Он тяжело дышал, озираясь по сторонам. Кругом не слышалось никакого шума. Он рванулся вперед, потом упал и уже на брюхе, ползком, в пыли, как гадина, дополз до темноты, которая гигантской стеной, как застывшая черная колонна войск, стояла, заслоняя собой горизонт.

Это был хлеб.

Столько хлеба никто никогда не видел.

Тяжелый, спокойный, в золотых колосьях, стоял хлеб под звездным небом.

И редкие, как в океане острова, стояли на вышках, охраняя это социалистическое сокровище, бодрствующие ребята-пионеры из бригады «Охрана урожая».

Кругом не слышалось никакого шума, лишь изредка в узкой реке с внезапной звучностью блеснет большая рыба, и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной.

И вдруг… прогремел выстрел.

На одной из вышек в океане ржи зашатался окровавленный ребенок (Степок) и, слабо вскрикнув, хватая руками воздух, полетел вниз.

А он убил, гадина, да еще перекрестился. Прислушался: тихо. Смертельно ранил да еще подошел к умирающему ребенку со словами:

— Ну вот и я, сынок. Здравствуй!

Подсел к окровавленному, валяющемуся в пыли маленькому сыну, предлагая ему:

— Давай-ка, сынок, поговорим, кое о чем и как подобает отцу с сыном… Слушай, сынок..

И со всей своей проклятой церковнославянской, так называемой «истинно русской простотой» начал, покачиваясь, поджав под себя ноги:

— Когда господь бог наш всевышний сотворил небо, воду и землю и вот таких людей, как мы с тобой, дорогой сынок, он сказал…

— Что он сказал? – спросил умирающий в пыли ребенок, открыв широко глаза, уставившись потухающим взглядом в небо, и не понять, был ли этот вопрос обращен к отцу или возник самостоятельно в головке умирающего.

— Он сказал, — продолжал убийца-отец, — плодитесь и размножайтесь, но если когда-либо родной сын предаст своего отца, убей его, — говорит в Священном писании господь бог. – Тут же убей.

— Так и сказал? – прошептал Степок, сжавшись в комочек.

— Так и сказал, — подтвердил убийца. – Как собаку, убей, — говорит господь бог. – Слышишь, сынок? Ты о чем думаешь?.. – начиная тормошить, дергать умирающего ребенка, говорил, еле сдерживая свою ненависть к сыну, убийца-отец. – Слышишь? Я кому говорю…

А сынок окровавленный лежал в пыли. Умирающий ребенок о чем-то думал, ребенок шептал:

— Что бы это такое могло быть? Кто же это мог выстрелить?

— Тише… — отрезал убийца, чем-то встревоженный, и зажал с силой рукой ребенку рот.

И, вырываясь, не понимая, агонизирующий ребенок ловил руку убийцы, целовал ее и лихорадочно бормотал:

— Мамочка, холодно мне. Накрой меня потеплее, мамочка. Прижмись ко мне. Холодно твоему Степку, холодно…

— Тише… — хрипел убийца, вырывая руку, приподнимаясь и оглядываясь, вслушиваясь в ночь, в которой слышалась песнь детей из Бежиналуга с ночного, и вдруг, что-то увидев, убийца истерически крикнул:

— Куда?!

— Я сейчас… В политотдел… Я к дяде Васе… — шептал, как бы по секрету, прикладывая палец к губам, агонизирующий Степок, который, пока убийца-отец озирался по сторонам, оказывается, собрав все свои силенки, взвинченные агонией, встал и побежал, окровавленный, по дороге в хлеба, крича отцу уже издали:

— Я скажу ему… Дядя Вася… Ты знаешь… Я слышал выстрел в хлебах!

И, вскинув на прицел берданку, выстрелил ему в спину с колена убийца-отец.

И говорил смертельно раненный еще раз, на наших глазах, но продолжающий двигаться по дороге агонизирующий ребенок:

— Чу, слышишь?! Вот опять выстрел, дядя Вася. Что бы это такое могло быть? Может быть, кого-нибудь уже убили. Пойдем искать, дядя Вася! Пойдем!..

И, молниеносно вогнав трясущимися руками в дуло патрон и вскинув на прицел берданку, ахнул еще раз с колена из берданки вслед сыну теряющийся убийца-отец.

А умирающий, расстрелянный Степок уже повернул в хлеба. Степок раздвигал взволнованные им и налетевшим ветром хлеба, лихорадочно шел, он искал и кричал:

— Врешь!.. Не уйдешь!.. Сюда, дядя Вася! Убийца здесь. Сюда… Не уйдешь… Бейте в набат… Вызывайте всех. Сюда… За мной… Здесь выстрел был… Давайте сюда всех. Разбудите Москву!.. Окружай!.. Окружай!..

И с криком:

— Вот он! – вырвавшись, как страшный сказочный призрак, из вздыбленного, разбуженного налетевшим внезапным штормом золотого океана мятущейся ржи, смертельно раненный ребенок в своей последней агонии бросился на дрожавшего от ужаса от всего виденного, расстрелявшего все патроны отца-убийцу, и, сбив его с ног, Степок, вцепившись, как маленький тигр, покатился с ним на землю, бессознательно вырвал у него ружье и, уже не обращая внимания на убийцу, который тут же, с перекошенным от страха лицом, исчез в хлебах, торжествующий, чувствуя, что держит что-то в руках, вскочил на ноги и вдруг, увидев в своих руках ружье, проговорил, озадаченный, по-детски улыбаясь:

— Ух, какой большой пугач! – и упал замертво.

НО ЛЮДИ ВЕЗДЕ УЖЕ ПРОСНУЛИСЬ.

Некоторые, предчувствуя недоброе, выскочили из изб и, раздетые, в одном белье, стояли в темноте на улицах колхоза, внюхиваясь в темную ночь и как бы ожидая еще выстрела.

Другие, оставаясь в постелях, лежали с открытыми глазами и, прижав руку к груди, слушали, как билось их сердце.

В политотделе, который находился в бывшем кулацком хуторе и отстоял от колхоза приблизительно в трех верстах, вспыхнули в окнах огоньки. Из здания конторы, застегивая кожаную тужурку, вышел знакомый нам пожилой начальник политотдела.

— Ну и ночь… — проговорил он, подходя к группе людей, столпившихся в темноте и выскочивших на улицу кто в чем, а некоторые – только в одних кальсонах.

— Да… Хорошо… — проговорил кто-то, дрожа от холода в темноте, и это было единственным, что нарушило тишину, в которую каждый вслушивался по-своему.

Опустивши глаза вниз, замолкнувший начальник политотдела, почесывая у себя в седом затылке, думал о том, о чем думали все: «Что бы это такое могло быть?..»

И как ни уговаривали свою тревогу проснувшиеся в разных местах люди, которые говорили себе: «Ну подумаешь, выстрел… Мало ли кто выстрелил… Взял и выстрелил, что ж тут такого. Ну шел себе по дороге человек, а навстречу ему – заяц. Ну и выстрелил себе человек… Да если бы у меня было ружье, так я тоже, может, снял бы его с плеча…»

И каждый, так думающий про себя человек, не заканчивая эту версию, обрывал тут же мысль, потому что думающие одинаково люди, поднимая головы и встречаясь взглядами в темноте, читали друг у друга в глазах: «Нет, батенька, здесь что-то такое не то… Не то».

И в темноте в разных местах вспыхивал, как затяжка цигаркой, редкий разговор о том, в какой стороне прозвучал выстрел, потому что, если бы знать где, так можно было бы идти. А так что попрешь… На ура… В темноту-то… Ого…

И опять начиналось:

Одни говорили, что выстрелы были «там»…

Другие – «нет, там», третьи – еще где-то.

Собаки, дремавшие до сих пор, вскочили на ноги и, застыв, глухо ворчали. Лошади в табуне, лежавшие до сих пор в слабом забытьи, подняли головы, вслушивались в ночь.

Поднятая криком тревоги прибежавшего изо всех сил к реке, к ночному табуну, обессиленного мальчика-пионера с вестью об убийстве Степка,

Стая его ровесников уже, как вихрь, неслась на пятидесяти неоседланных лошадях,

Напоминая собой что-то из чудесного сказочного сна из «Тысячи и одной ночи»,

И, миновав вспаханное поле, потонула в океане золотой и взволновавшейся таким ураганным нашествием и проснувшейся ржи.

Всем своим существом услышал и почувствовал умирающий в пыли Степок приближающийся грохот и, подняв тяжело ресницы, с улыбкой на лице встретил друзей-товарищей, зацеловавших его и услышавших от него имя убийцы.

— Отец… — прошептал умирающий.

А через секунду, вскочив обратно на лошадей и разделив задачу, восемь мальчиков на неоседланных лошадях помчались к колхозу. И еще восемь, спустившись на конях с кручи и бросившись в реку, переплыв ее и выбравшись на другой берег, помчались через луг к политотделу.

Восемь осталось около умирающего Степка, и один из мальчиков, тут же забравшись на вышку, заменил сраженного бойца.

А основной табун, как ураган, уже мчался дальше по пути, указанному умирающим Степком, в сторону, где скрылся убийца.

И ЗАГУДЕЛ В КОЛХОЗЕ НАБАТ.

Уже по улицам колхоза ночью на взмыленных лошадях мчались дети, поднимая тревогу.

Всей обоймой, выпущенной из маузера в звездное небо, поднимая тревогу, покрыл известие об убийстве Степка старый начальник политотдела, получив это сообщение от ворвавшихся на конях в ворота мальчиков.

Гудел в колхозах набат…

Дети кричали, тащили отцов с улицы.

И стар и млад, схватив что попало под руку, вооруженные кто ружьем, кто колом, ломая изгороди, бежали через поля из колхозов в сторону опушки леса, из которого раздавались выстрелы из обрезов кулаков;

Уже присоединившихся к отцу-убийце и стрелявших по юным всадникам, настигнувшим убийцу и носившимся по ночному полю на пятидесяти неоседланных лошадях, не выпуская из виду убийцу, но и не приближаясь к нему близко.

Ночь зажила по-другому.

Выбравшиеся на улицы колхозов проснувшиеся дети, от едва научившихся ходить и чуть-чуть старше, смешно «комментировали» между собой разворачивающиеся события, отголоски которых в виде отдельных выстрелов долетали до них. И, разговаривая басом, какой-то карапуз, изображавший из себя Василия Ивановича Чапаева, раскладывал перед детьми картошки и спрашивал:

— Где, по-вашему, должен сейчас находиться командир?

«БЕСЧИСЛЕННЫЕ ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ, КАЗАЛОСЬ, ТИХО ТЕКЛИ ВСЕ, НАПЕРЕРЫВ МЕРЦАЯ, ПО НАПРАВЛЕНИЮ МЛЕЧНОГО ПУТИ, И, ПРАВО, ГЛЯДЯ НА НИХ, ВЫ КАК БУДТО СМУТНО ЧУВСТВОВАЛИ САМИ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ БЕЗОСТАНОВОЧНЫЙ БЕГ ЗЕМЛИ…»

И.С. Тургенев. "Бежин луг".

И эти слова были уже насыщены возникшей откуда-то тихо струившейся музыкой волнующего «Реквиема» Моцарта. И где-то пел печальный и торжественный, далекий, далекий величественный хор.

Но это не был утопающий в алых знаменах всех боевых десятилетий бессмертного большевизма, в знаменах, поникших своими золотыми звездочками, окутанными черным крепом, душераздирающий и душистый всеми своими умирающими цветами ночной мраморный Колонный зал Дома Союзов – нет… Но это было тоже ночью. Это был Бежин луг.

А у костра, на берегу реки, протекающей по знаменитому Бежину лугу, окруженный застывшими мальчиками, у которых были полные слез глаза, умирал, не приходя в сознание, принесенный сюда Степок.

— Вы мне мешаете, дети, — тихо и сурово проговорил примчавшийся на мотоцикле пожилой доктор.

— Мы мешаем? – почти шепотом переспросил доктора кто-то среди детей. И столько неподдельного, и девственного, и лучистого удивления было в этом вопросе, что доктор даже смутился и, лихорадочно что-то разыскивая в своей походной аптечке, забормотал:

— Собственно, конечно, дети, не вы мне мешаете – я здесь лишний. Вы извините, дети. Я знаю, я помешал вашему веселью… Вашему счастью… Вашим радостным крикам… Играм. Не место здесь доктору… Это совершенно ясно. Но иногда… Вопреки всему… Черт подери…

— Доктор… — тихо перебивая доктора, спросила, нервничая и еле владея собой, какая-то маленькая девочка-пионерка.

— Я доктор, — сказал сурово, уже наклоняясь над Степком, доктор.

— Скажите, а сердце… — продолжала свою мысль и, пугаясь ее, спрашивала чудная девочка…

— Что – сердце? – переспросил сурово доктор, нервно прощупывая, не поворачивая головы в сторону детей, местонахождение пули у распростертого на земле Степка.

— Сердце Степка… — с трудом пояснила девочка.

— Ну говори, говори… — говорил доктор, не поворачивая головы и то тут, то там нервно прощупывая тело Степка.

Но девочка уже не могла вымолвить слово. Девочка беззвучно рыдала.

Тогда другой пионер – мальчик, став рядом с рыдающим ребенком, которому какой-то третий ребенок с другой стороны зажал рот рукой, тихо спросил доктора:

— Может быть, я скажу… Она не может…

— Говори… Говори… — говорил сердитый доктор, стараясь найти пулю.

— Бьется ли сердце Степка или уже нет?.. – произнес тихо мальчик.

И, продолжая уже выслушивать сердце Степка, доктор повторял:

— Бьется ли сердце Степка или уже нет?.. Так… Так… — говорил доктор, вслушиваясь.

— Вот здесь слабо бьется, — сказал, наконец, доктор.

И поднявшись с колен, и прижав к себе спрашивающего мальчика, и приложив свое ухо к тому месту груди, где обычно бьется наше сердце, доктор громко сказал:

— А вот здесь сердце Степка бьется прекрасно…

И, уже роясь в своей аптечке и вынимая какие-то инструменты, доктор продолжал говорить радостно:

— Сильно бьется… Так, как и требуется… Замечательно бьется. Как у большевиков… Ну послушайте сами, дети…

Дети слушали сердце другого лучистого мальчика…

— Ну не правда ли, прекрасное сердце?.. – спрашивал доктор.

— Ах, какое сердце!.. Ну прямо удивительно!..

Чудесные дети по очереди слушали сердце своего товарища, безмолвно кивали головами, радостные, и, улыбаясь, говорили сердитому доктору умоляюще:

— Доктор, мы ведь знаем, что умрет Степок… Вы только, пожалуйста, доктор, приведите его в сознание. Сделайте так, чтобы он улыбнулся нам, и нам больше ничего не надо…

Исчезла улыбка при этих словах на лицах детей. Кто-то зарыдал. И кто-то за всех зашептал:

— Он умрет, доктор?

— Кто умрет!.. – загремел во весь голос доктор сурово.

Улыбка надежды озарила лица оживившихся детей.

А доктор уже гремел по всем Бежину лугу, доктор понимал детей, доктор убежденно разъяснял, доставая из аптечки инструменты:

— Что значит – умрет?.. Чушь, дети… Чепуха… Вам, юным ленинцам, должно быть уже известно, что в науке нет такого слова… Я приведу его в чувство… — говорил горячо и сердито доктор, поднимаясь с колен.

— Но я вас прошу… — проговорил он тут же сурово, обращаясь к застывшей куче детей, — разойтись по Бежину лугу… Мне теперь не мешать… И пока я постараюсь привести Степка в сознание, вы соберите… — проговорил как можно торжественнее, заинтересовывая ребят, доктор, — как можно больше цветов для него… Но только как можно тише. Договорились?

И тут же склонился над умирающим Степком, нервный, ощупывающий своими длинными, белыми, тонкими пальцами.

«ЭТА БЕЗЛУННАЯ НОЧЬ, — БЫЛА ВСЕ ТАК ЖЕ ВЕЛИКОЛЕПНА, КАК ПРЕЖДЕ». И.С. Тургенев. "Бежин луг".

И эти слова были так же насыщены тихо струившейся музыкой волнующего «Реквиема» Моцарта, и где-то пел печальный, торжественный, далекий, далекий величественный хор.

Но, я повторяю, это не был душераздирающий и душистый всеми своими умирающими цветами, ночной мраморный Колонный зал Дома Союзов… Нет… Это было ночью, это был все тот же Бежин луг, по душистой беспредельной шкуре которого медленно двигались в темноте, цепями, бесчисленные дети, собирая цветы…

И то тут, то там несколько раз кто-то из детей, призывая к тишине, тихо кричал:

— Тише…

— Как можно тише…

— Т-с-с-с… — прошептал кто-то в момент, когда дрогнули веки, и через большую паузу Степок приоткрыл глаза и увидел кого-то, и у улыбающегося Степка вырвалось тихое: — А-а-а…

Всю любовь, всю свою нежность, всю свою возвышенную философию прекрасного третьего поколения большевиков вложили дети, застывшие с громадными букетами цветов в руках, в свои бесчисленные лучистые улыбки, которыми они встретили улыбку узнавшего их умирающего Степка.

— Споем, что ли… — прошептал умирающий Степок, улыбаясь.

И тихо запелась такая песнь, какую вы никогда не слышали, и, повернув головку набок, тихо шевеля губами, казалось, тоже пел беззвучно Степок.

А в стороне на лугу у реки, среди детей, окруживших врача, слышалось:

— Ну и доктор… Вот так доктор… Ах и доктор… Ну, это такой молодец! – восклицали один за другим карапузы и от мала до велика по большому, как взрослые, как равные с равным, схватывали руку врача одной своей ручонкой и, придерживая ее другою своей крошечной рукой, хлопали по большой его ладони и кричали восторженно, а он отбивался; он, доктор, сам плакал и смущенно бормотал:

— Да не стоит… За что… Это мой долг… Ну не надо…

«МНОГИЕ ЗВЕЗДЫ, ЕЩЕ НЕДАВНО СТОЯВШИЕ НА НЕБЕ, СКЛОНИЛИСЬ УЖЕ К ТЕМНОМУ КРАЮ ЗЕМЛИ, ВСЕ СОВЕРШЕННО ЗАТИХЛО КРУГОМ, КАК ОБЫКНОВЕННО ЗАТИХАЕТ ВСЕ К УТРУ». И.С. Тургенев. "Бежин луг".

К умирающему Степку подошел шатающийся от усталости начальник политотдела и, крепко поцеловав его, улыбающегося, в лоб, опустился с ним рядом на землю.

И пелась песнь. Вдали вели арестованных преступников.

Умирающий Степок смотрел на своего дядю Васю. Степок что-то прошептал.

Задумавшийся начальник политотдела его не слышал.

— Дядя, расскажи мне сказку… — проговорил Степок громче.

Начальник политотдела, повернув полные слез глаза в сторону мальчика, начал:

— Жил-был дед и баба… – и задумался…

— В колхозе?.. – спросил через паузу Степок.

Начальник политотдела не слышал, начальник политотдела продолжал:

— И была у них одна курочка ряба… — И замолчал…

— Какая-то смешная сказка… — прошептал через паузу улыбающийся Степок.

— Как сказать… — сказал задумавшийся начальник политотдела, уставившись взглядом

на раскинувшийся колхоз – своим видом ночью еще напоминавший тургеневскую деревню, бывшую крепостной у знаменитого по «Запискам охотника» молодого зверя-помещика, бывшего гвардейского офицера в отставке Аркадия Павловича Пеночкина, — на фоне которого вооруженные люди вели арестованных в лесу убийц и поджигателей.

— Дядя Вася, не плачь… Не надо… — прошептал через паузу Степок, взглянув на начальника политотдела, который находился вне этого кадра.

— Что ты… Что ты, Степок… — послышался голос начальника. – Мы, большевики, никогда не плачем, как бы нам ни было тяжело…

— Мы, большевики… — проговорил зрителю начальник и зарыдал, как ребенок.

«ТОРЖЕСТВЕННО И ЦАРСТВЕННО СТОЯЛА НОЧЬ. СЫРУЮ СВЕЖЕСТЬ ПОЗДНЕГО ВЕЧЕРА СМЕНИЛА НОЧНАЯ СУХАЯ ТЕПЛЫНЬ, КОТОРАЯ ЛЕЖАЛА МЯГКИМ ПОЛОГОМ НА ЗАСНУВШИХ ПОЛЯХ. ЕЩЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ОСТАВАЛОСЬ ДО ПЕРВОГО ЛЕПЕТА, ДО ПЕРВЫХ ШОРОХОВ И ШЕЛЕСТОВ УТРА, ДО ПЕРВЫХ РОСИНОК ЗАРИ».

— Ну, будем начинать, что ли, Василий Иванович? – проговорили пришедшие бригадиры, обращаясь к задумавшемуся начальнику политотдела.

Василий Иванович посмотрел на побелевший восток, вытер платком слезы и сказал:

— Начали.

Умирающий Степок тяжело поднял веки и прошептал:

— Дядя… Покажи мне вот эту сказку… — И упала обессиленная голова.

«И когда, — как пишет Иван Сергеевич Тургенев, — полились по широкому мокрому лугу, вдоль задымившейся реки,

впереди по зазеленевшим полям от леса до леса и сзади по длинной пыльной дороге,

по сверкающим обагренным кустам, по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана, полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого горячего света…»

«КОГДА ВСЕ ЗАШЕВЕЛИЛОСЬ, ПРОСНУЛОСЬ, ЗАПЕЛО, ЗАШУМЕЛО, ЗАГОВОРИЛО… КОГДА ВСЮДУ ЛУЧИСТЫМИ АЛМАЗАМИ ЗАРДЕЛИСЬ КРУПНЫЕ КАПЛИ РОСЫ…»

в золотом океане ржи с вышек что-то увидели дети-стражи и, подняв руки, застыли, отдавая боевой пионерский привет…

А по дороге, среди одухотворенных трудом социалистических полей, шел медленно, с непокрытой головой и нес на руках убитого мальчика старый начальник политотдела.

— Прощай, наш маленький герой, прощай, Степок. Наша взяла… Раздавим! – казалось, шептал старый начальник.

А сзади него двигался на поводах у медленно шагающих бесчисленных ребят, поющих боевую песнь пионерии, отдохнувший табун.

 "Бежин луг". 1934/35 г.